

# ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ



Тригорий  
Зобин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия)

Григорий Зобин

**Вячеслав Иванов**

«ВЕБКНИГА»

2022

**Зобин Г.**

Вячеслав Иванов / Г. Зобин — «ВЕБКНИГА», 2022 — (Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия))

ISBN 978-5-235-04647-4

Без Вячеслава Иванова невозможно представить себе эпоху Серебряного века, одним из лучших поэтов которого он был. Помимо этого, Вяч. Иванов был и филологом — классиком мирового масштаба, его исследования по истории античной мифологии и религии носят характер фундаментальных трудов. Как религиозный мыслитель Вячеслав Иванов считал себя учеником и последователем Владимира Соловьева с его философией всеединства и вселенским христианством. Последнюю четверть века своей жизни поэт прожил в Италии, где занимался научной и преподавательской деятельностью. Во время немецкой оккупации Рима под грохот бомб и снарядов он писал стихи, составившие цикл «Римский дневник» и ставшие одной из величайших вершин русской поэзии. Вопреки распространенным представлениям Вячеслав Иванов предстает в книге не как поэт исключительно «для филологов», а как тот, в чьих стихах, по словам Мандельштама, звучит «могучий гул» наплывающего и ждущего своей очереди колокола народной речи.

ISBN 978-5-235-04647-4

© Зобин Г., 2022

© ВЕБКНИГА, 2022

## Содержание

Григорий Зобин	5
Глава I	6
Глава II	25
Глава III	42
Глава IV	68
Конец ознакомительного фрагмента.	79

## **Григорий Зобин Вячеслав Иванов. Путь жизни**

*Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.*

© Зобин Г. С., 2022

© Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля, фото (ГЛИ), 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

\* \* \*

*Светлой памяти моего друга Александра Цветкова (Вадимова) – автора книги «Жизнь Бердяева» и собирателя музея Н. А. Бердяева*

## Глава I

### Свет младенчества. 1866–1886 годы

Шел десятый год царствования Александра II и пятый от одного из главных событий всей русской истории – отмены крепостного права и начала эпохи Великих реформ. Казалось, наконец-то, с опозданием почти на столетие, но осуществляются заветные чаяния лучших умов и сердец, обретают плоть те идеи, что рождались и закалялись в пламенных домашних спорах. Рабство пало «по манию царя», без кровавых переворотов.

Александр II явил себя достойным учеником своего великого наставника – Василия Андреевича Жуковского, приветствовавшего его появление на свет стихами, ставшими заветом русской поэзии будущему государю:

Да встретит он обильный чеством век!  
Да славного участник славный будет!  
Да на чреде высокой не забудет  
Святейшего из званий: *человек*.  
Жить для веков в величии народном,  
Для блага *всех* – *свое* позабывать,  
Лишь в голосе отечества свободном  
С смирением дела свои читать<sup>1</sup>.

Корабль, который так и не решились спустить на воду его дядя, а затем и отец, Царь-Освободитель непомерным усилием воли вывел в открытое море, в трудное и опасное, но единственно спасительное для отечества свободное плавание.

И лишь немногие понимали, что упущенное время чревато новыми катастрофами...

А тогда жизнь стремительно менялась на глазах. Особенно заметно это было в двух столицах. Многолетний застой закончился. В воздухе повеяло весной. Дышать стало легче. Первым слово «оттепель» произнес Тютчев. С упразднением цензуры оживилась печать, открыто обсуждались самые острые общественные вопросы, что прежде было немислимо.

Споры консерваторов, либералов и радикалов-социалистов велись теперь на страницах журналов. Но, чтобы понять все происходящее в те годы с русскими людьми, сил публицистики не доставало. Для разговора о сущностном были потребны иная глубина и другой язык.

В литературе наступала эпоха великого романа – эпоха Тургенева, Толстого и Достоевского.

Изменился и самый облик городов. Особенно заметно это было в Москве, которая всегда оставалась сердцем российской деловой жизни, столицей купечества. Предприимчивым труженикам реформы открывали новый простор. Строилось немало фабрик, особенно текстильных, день ото дня увеличивалось число магазинов, торговых фирм, контор, бюро, банков, технических и коммерческих учебных заведений. Для огромного количества занятых в них служащих требовались дешевые наемные квартиры и комнаты. В Земляном городе начали строиться первые доходные дома, тогда еще двух- или трехэтажные. До роскошных неоклассических построек эпохи модерна в шесть и семь этажей с квартирами, доступными богатым адвокатам, врачам, банкирам и коммерсантам, оставалось несколько десятилетий...

А по соседству с этим бурным ростом незаметно изо дня в день шла прежняя спокойная старомосковская жизнь в городских усадьбах и маленьких бедных деревянных домиках.

---

<sup>1</sup> Жуковский В. Полное собрание сочинений: В 20 т. М., 2000. Т. 2. С. 97.

В одном из таких в приходе Большого Вознесения на Никитской вместе со старушкой-компаньонкой жила одинокая, уже немолодая барышня Александра Дмитриевна Преображенская. Ей и предстояло стать матерью героя нашей книги и с детства заронить в его душу то главное, что ни в каких бурях житейского плавания, ни в каком мраке не дает потерять из виду спасительный маяк. Жизнь Александры Дмитриевны, небогатая событиями, была богата внутренним, сердечным опытом, а также опытом книжным, который стоит многих «жизненных». Внучка сельского священника, дочь сенатского чиновника, она рано осиротела. Впрочем, о ее и своих семейных корнях, через которые он унаследовал любовь к поэзии православного быта, что позже выведет его к вселенским истокам христианства, в зрелые годы воскрешая памятью минувшее, писал сын:

Ей сельский иерей был дедом;  
Отец же в Кремль ходил, в Сенат.  
Мне на Москве был в детстве ведом  
Один, другой священник – брат  
Ее двоюродный. По женской  
Я линии – Преображенский;  
И благолепие люблю,  
И православную кутью...<sup>2</sup>

Сироту приютила пожилая и бездетная семья фон Кеппен. Хозяин дома был известным лютеранским богословом, ученым библеистом, питомцем Дерптского университета, специалистом по Ветхому Завету, знатоком древнееврейского языка, членом Библейского общества, поставившего своей целью распространение Священного Писания в России. Одновременно фон Кеппен исполнял должность главноуправляющего имениями князя Воронцова. Опыт православного благочестия Александры Дмитриевны, взращенный поколениями семьи русского духовенства, встретился здесь с опытом благочестия лютеранского, с трехсотлетней культурой чтения и изучения Книги книг, с духом возвышенного мистического пиетизма. Эта замечательная школа немецкого уклада с его добросовестностью, чистотой, религиозным отношением к жизни, серьезностью научных интересов и трудолюбием сформировала характер матери будущего поэта и отозвалась в его собственной судьбе. Обстановку дома фон Кеппенов, известную ему как часть семейного предания, он так воссоздаст в поэме «Младенчество»:

Но сироту за дочь лелеать  
Взялась немецкая чета:  
К ним чтицей в дом вступила та,  
Отрадно было старым сеять  
Изящных чувств и знаний сев  
В мечты одной из русских дев.

.....

Читали Библию супруги,  
Усевшись чинно, по утрам,  
Забыть и крепостные слуги  
Не смели в праздник Божий храм.  
И на чепец сидящей дамы,

<sup>2</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 233.

И на чтеца глядел из рамы  
Румяный Лютер: одобрял  
Их рвенье Доктор, что швырял  
Чернильницей в Веельзевула,  
Когда отваживался шут  
Его ученый путать труд,  
Над коим благочестье гнуло  
Мужской, с височками, парик  
И вялый, добрый женский лик.

С осанкою иноплеменной  
Библейский посещали дом  
То квакер в шляпе, гость надменный  
Учтиво-чопорных хором,  
То менонит, насельник Юга,  
Часы высокого досуга  
Хозяин, дерптский богослов,  
Все посвящал науке слов  
Еврейских Ветхого Завета,  
В перчатке черной (кто б сказал,  
Что нет руки в ней?) он стоя  
И левою писал с рассвета,  
Обрит и статен, в парике  
И молчаливом сюртуке<sup>3</sup>.

Дерптский университет, с его высоким духом немецкой науки, где изучал теологию фон Кеппен, всегда был родным русской культуре. Еще до войны 1812 года там профессорствовал Андрей Сергеевич Кайсаров, один из основоположников русской славистики, ставший в год грозных испытаний начальником походной типографии Кутузова, привлекий к работе в ней друга своей юности, а тогда поручика Московского ополчения, Василия Андреевича Жуковского, и погибший во время Заграничного похода русской армии. Позже сам Жуковский немало времени провел в Дерптском университете, подружился с его профессорами и получил в нем степень доктора философии. Преподавал там на медицинском факультете и замечательный хирург, врач-бессребреник Иван Филиппович Мойер, муж музыки Жуковского Маши Протасовой, а среди его учеников был и великий доктор Николай Иванович Пирогов, проявивший себя не только в медицине, но и в богословии.

Немецкий и русский романтизм навсегда вошел в жизнь Александры Дмитриевны. Она полюбила Гёте и Бетховена, с замиранием сердца читала Жуковского, заполняла переписанными от руки стихами целые кипы тетрадей, восторгалась статьями и литературными обзорами Белинского, была даже знакома с сестрой «неистового Виссариона». Но главной книгой для нее всегда оставалась Библия. Вера Александры Дмитриевны была живой и горячей, простой и сердечной. Каждый день она со слезами читала Псалтирь. Вспоминая о матери, сын отмечал ее мистическую одаренность и вместе с тем трезвость и проницательность ума. Предмет особой гордости этой незаурядной женщины составляло то, что она родилась 19 февраля 1824 года. День, когда ей исполнилось 37 лет, принес долгожданную свободу миллионам русских людей – был провозглашен Манифест об уничтожении крепостного права. К Царю-Освободителю

---

<sup>3</sup> *Иванов Вяч.* Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 233, 234.



Александра Дмитриевна относилась с глубоким благоговением, гордилась тем, что была его тезкой.

В поэме «Младенчество» портрет матери будет словно бы весь пронизан светом и теплом, как одно из самых прекрасных воспоминаний детства.

...Но в тишине сердечных дум  
Те образы ей были сладки,  
Где в сретенье лучам Христа  
Земная рдеет красота.  
А девой русскою по праву  
Назваться мать моя могла:  
Похожа поступью на паву, —  
Кровь с молоком, — она цвела  
Так женственно-благоуханно,  
Как сердцу русскому желанно.  
И косы темные до пят  
Ей достигали. Говорят  
Пустое все про «долгий волос»:  
Разумница была она —  
И «Несмеяной» прозвана.  
К тому ж имела дивный голос:  
«В театре ждали б вас венки» —  
Так сетовали знатоки<sup>4</sup>.

Именно такой женщине с ее необычайно одаренной натурой, богатой внутренней жизнью и широтой интересов, впитавшей все лучшее, что было разлито в самом воздухе XIX столетия, и выпало на долю сделаться матерью одного из крупнейших русских поэтов Серебряного, да и всего XX века.

После смерти фон Кеппенов Александра Дмитриевна вместе с их старой служанкой, украинской крестьянкой Татьянушкой, которую очень любила за поэтический склад души, поселилась в маленьком домике у Никитских ворот, близ церкви, где Пушкин венчался с Натальей Николаевной. Всю оставшуюся жизнь она решила провести девой. Но когда Александре Дмитриевне было сорок лет — возраст, казалось бы, ни для какого замужества немислимый, если учесть, что в XIX веке девица, не нашедшая пары и после двадцати, считалась «засидевшейся», — судьба ее полностью переменялась. Год назад умерла ее подруга Генриетта. Вдовец Генриетты, пятидесятилетний Иван Тихонович Иванов, стал часто заходить в их с Татьянушкой домик, находя утешение в беседах с доброй и умной Александрой Дмитриевной, открывая ей свои горести и тяготы. Участь пожилого вдовца, оставшегося с двумя сыновьями совсем еще юного возраста, и в самом деле была не из легких. Решение пришло скоро и неожиданно, хотя Александра Дмитриевна внутренне к нему уже готовилась. О том, как все совершилось, в поэме «Младенчество» рассказано так:

Не долго плел отец мой сети:  
Двух малолетних сыновей  
Раз под вечер приводит к ней  
И молвит: «На колени, дети!  
За нас просите как-нибудь!»

---

<sup>4</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 232, 233.

И дети: «Нам ты мамой будь...»<sup>5</sup>

Против такого сватовства Александра Дмитриевна не могла устоять, да и не хотела. Судьба ее решилась выше. После венчания супруги купили деревянный домик в Волковом переулке – на самой окраине тогдашней Москвы, в окрестностях Пресни, рядом с Зоологическим садом, в приходе церкви святого великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. В этом доме 16 (28) февраля 1866 года и суждено было родиться их младшему сыну – будущему поэту Вячеславу Иванову. Имя младенцу мать выбрала в память чешского благоверного князя Вячеслава, в чем сказалось ее органическое славянофильство.

То место, где поселилась семья, имело почти двухсотлетнюю историю. В 1670-е годы здесь расположилось дворцовое село Воскресенское – загородная летняя резиденция царя Федора Алексеевича с обширными плодовыми садами. Полвека спустя эти земли были отданы грузинскому царю Вахтангу VI, бежавшему в Россию от персов с двумя сыновьями и трехтысячной свитой. С тех пор в Москве место стали называть Грузины или Грузинская слобода.

Со временем знатные выходцы из Грузии смешались с русским дворянством. Многие из них прославили свои имена в истории России. И состав жителей Грузинской слободы в XIX веке уже был таким же пестрым, как и во всем городе. Здесь стояли и богатые особняки, и домики бедняков. Берега Пресненских прудов были излюбленным местом прогулок москвичей. Сюда приезжал Пушкин, чтобы послушать пение цыган, живших в Грузинах. В разное время проживали в этих местах Батюшков, Вяземский и Даль. А за два года до рождения Вячеслава Иванова Русским Императорским Обществом Акклиматизации растений и животных в Грузинской слободе вокруг Пресненских прудов был создан Зоологический сад. Он и стал первым впечатлением детства поэта. Впоследствии Иванов вспоминал, что Зоологический сад казался ему тем первозданным Эдемом, где по Божественному замыслу звери и птицы жили в гармонии с человеком. Это блаженное чувство ранних лет навсегда сохранилось в сердце и оказалось сильнее и вернее многих опытов зрелости. Позже не раз случалось терять дорогу к Эдему, но забывать о нем – никогда. Отзвук этих воспоминаний слышится и в «Младенчестве»:

Зоологического Сада  
Чуть не за городом в те дни  
Тянулась ветхая ограда.  
Домишко старенький они  
Купили супротив забора,  
За коим выла волчья свора  
И в щели допотопный рог  
Искал просунуть носорог.  
С Георгиевским переулком  
Там Волков узенький скрещен;  
Я у Георгия крещен.  
Как эхо флейт в притворе гулком  
Земной тюрьмы, – не умирай,  
Мой детский, первобытный рай!<sup>6</sup>

Святой Георгий еще отзовется в той книге, которую сам поэт будет считать главным трудом жизни – в «Повести о Светомире Царевиче»...

<sup>5</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 238.

<sup>6</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 239.

Об Эдеме своего детства Вячеслав Иванов вспоминал и в «Автобиографическом письме»: «Я с любовью отмечаю эти места, потому что с ними связаны первые впечатления моей жизни, сохраненные памятью в каком-то волшебном озарении, – как будто тот слон, которого я завидел из наших окон в саду, ведомого по зеленой траве важными людьми в парчевых халатах, и тот носорог, на которого я подолгу глазел сквозь щели ветхого забора, волки, что были в ближайшем нашем соседстве, и олени у канавы с черною водой, высокая береза нашего садика, окрестные пустыри и наш бело пушистый дворник,

...седой, как лунь,  
Как одуванчик – только дунь, —

остались навсегда в душе видениями утраченного рая»<sup>7</sup>.

Нянюшкой младенца стала старая Татьянушка, неразлучная с Александрой Дмитриев-ной. Ребенок рос под звуки простых и задумчивых украинских песен.

Когда Вячеславу исполнилось три года, семья, покинув пресненский «Эдем», переехала на Патриаршие пруды, сняв там недорогое жилье. В XIX веке в этих местах располагался городской «Латинский квартал», где селились студенты университета, в котором позже предстояло учиться будущему поэту и профессору античной филологии. «Московский дворик» на Патри-арших также навсегда остался в его памяти:

И миру новому сквозь слезы  
Я улыбнулся. Двор в траве;  
От яблонь тень, тень от березы  
Скользит по мягкой мураве.  
Решетчатой охвачен клеткой  
С цветами садик и с беседкой  
Из пестрых стекол. Нам нора —  
В зеленой глубине двора<sup>8</sup>.

К тому времени отец был тяжело болен. Прослужив большую часть жизни землемером, он перешел теперь в Контрольную палату. Характером и складом ума Иван Тихонович являл живую противоположность жене. Если та отличалась глубокой религиозностью, мягкосердечием и возвышенно-романтической настроенностью со славянофильским оттенком, то муж был настоящим интеллигентом – «шестидесятником» эпохи реформ, одним из тех, с кого Тургенев писал Базарова, и подобно Базарову – материалистом и атеистом. Человек замкну-тый и упрямый, он жил своей сложной внутренней жизнью, скрытой от посторонних глаз. Настольными книгами Ивана Тихоновича были сочинения немецких «вульгарных материали-стов» Бюхнера, Фохта и Мошотта – те самые, которые один из персонажей «Бесов» Досто-евского, некий подпоручик, сойдя с ума, поставил в киоты вместо икон и поклонялся им. Это в Оксфорде учение Дарвина воспринималось как одна из гипотез – для русского интелли-гента оно стало символом веры. «Все мы произошли от обезьяны, итак поэтому давайте делать добро», – шутил Владимир Соловьев. Он же дал определение трем видам неверия. Первое – грубо материальное, животное, второе – лживое и лукавое и третье – честное, которому надо помочь прозреть. Неверие отца Вячеслава Иванова относилось к третьему виду. Ведь безбо-жие второй половины XIX века порой бывало своего рода религией, пусть даже многие этого не осознавали. И очень часто неверам и упрямам, враждебно относящимся к официальному

---

<sup>7</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 9, 10.

<sup>8</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1971. Т. 1. С. 245.

православию (на что были причины, когда весть Евангелия подменялась мертвящей казенщиной), вдруг неожиданно открывался Лик Христа.

Портрет отца сын рисует по смутным воспоминаниям младенческих лет и рассказам матери:

Отец мой был из нелюдимых,  
Из одиноких, – и невер.  
Стеля по мху болот родимых  
Стальные цепи, землемер  
(Ту груду звучную, чьи звенья  
Досель из сумерек забвенья  
Мерцают мне, – чей странный вид  
Все память смутную дивит), —  
Схватил он семя злой чахотки,  
Что в гроб его потом свела.  
Мать разрешения ждала, —  
И вышла из туманной лодки  
На брег земного бытия  
Изгнанница – душа моя<sup>9</sup>.

Не от отцовского ли землемерства берут свои истоки «Борозды и межи» Вячеслава Иванова? Поэты Серебряного века были и в переносном, и в прямом смысле детьми интеллигентов – «народников»...

Перейдя на службу в Контрольную палату, Иван Тихонович получил гораздо больше времени, чем прежде, для чтения своих любимых материалистических сочинений. В безбожие он попытался обратить и жену, но натиск вольнодумства оказался бессилем против глубокой веры и здравого ума Александры Дмитриевны.

И все в дому пошло неладно:  
Мать говорлива и жива,  
Отец угрюм, рассеян, жадно  
Впивает мертвые слова —  
И сердце женское их ложью  
Умыслил совратить к безбожью.  
Напрасно! Бредит Чарльз Дарвин;  
И где ж причина всех причин,  
Коль не Всевышний создал атом?  
Апофеоза «протоплазм»  
Внушает матери сарказм:  
Назвать орангутанга братом —  
Вот вздор! Мрачней осенних туч,  
Он запирается на ключ<sup>10</sup>.

Но вопреки яростному неприятию веры в глубине души угрюмого затворника-атеиста происходила незаметная, скрытая от чужих глаз работа. Иван Тихонович был из тех, кто не любил подгонять трудные задачи под готовый ответ и всегда шел до конца. Борясь с Богом

---

<sup>9</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1971. Т. 1. С. 231.

<sup>10</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1971. Т. 1. С. 243.

в уме, он обретал Его в сердце. «Знай: чистая душа в своем стремлении смутном сознанием истины полна!» – говорится в «Прологе на небесах» из «Фауста»<sup>11</sup>. Это относилось и к отцу Вячеслава Иванова, и позже не раз отзовется в его собственной жизни.

Заветный ключ! Он с бранью тычет  
Его в замок, когда седой  
Стучится батюшка и причет —  
Дом окропить святой водой.  
Вы, Бюхнер, Молешотт и Штраус,  
Товарищи недельных пауз  
Пифагорейской тишины,  
Одни затворнику верны, —  
Пока безмолвия твердыня,  
Веселостью осаждена,  
Улыбкам женским не сдана...  
Так тайна Божья и гордыня  
Боролись в алчущем уме.  
Отец мой был не *sieur Nomais*...<sup>12</sup>

*Sieur Nomais* (сир Омэ) – герой романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», аптекарь, был воплощением мещанского, рационально-желудочного, рептильного атеизма, противоположного напряженному богоборчеству Ивана Тихоновича:

Но – века сын! Шестидесятых  
Годов земли российской тип;  
«Интеллигент», сиречь «проклятых  
Вопросов» жертва – иль Эдип...  
Быть может, искренней, народной  
Иных – и в глубине свободней...  
Он всенощной, от ранних лет,  
Любил «вечерний тихий свет».  
Но ненавидел суеверье  
И всяческий клерикализм.  
Здоровый чтит он эмпиризм:  
Питай лишь мать к нему доверье,  
Закон огня раскрылся б мне,  
Когда б я пальцы сжег в огне<sup>13</sup>.

«Вечерний тихий свет», столь памятный и родной с детства, – одно из самых поэтических песнопений всенощной, сложенное еще в IV веке святым Амвросием Медиоланским: «Свете тихий святых славы, Бессмертного Отца Небесного, Святого, Блаженного, Иисусе Христе. Пришедше на запад солнца, видевшие свет вечерний, поем Отца, и Сына, и Святого Духа Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот давай: темже мир Тя славит». Не случайно, наверное, последний сборник стихотворений сына будет носить название «Свет Вечерний»...

---

<sup>11</sup> Гёте И. В. Фауст / Пер. Н. Холодковского. М., 2020. С. 16.

<sup>12</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 243.

<sup>13</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 244.

Первыми поэтическими впечатлениями стали для мальчика баллады Жуковского и стихи Пушкина и Лермонтова, которые читала ему мать. Особенно запомнились Вячеславу лермонтовские «Спор» и «Воздушный корабль» – стихотворение, поразившее в детстве и другого русского поэта XX века, Марину Цветаеву. Она вспоминала, что никак не могла понять, кто же это такие «флюгеране», которые шумят на мачтах. Вячеслав в младенческие годы тоже гораздо больше чувствовал стихи, нежели понимал их:

Стихи я слышу: как лопата  
Железная, отважный путь  
Врезая в каменную грудь,  
Из недр выносит медь и золото, —  
Как моет где-то желтый Нил  
Ступени каменных могил, —  
Как зыбью синей океана,  
Лишь звезды вспыхнут в небесах,  
Корабль безлюдный из тумана  
На всех несется парусах...  
Слов странных наговор приятен,  
А смысл тревожно непонятен;  
Так жутко нежен стройный склад,  
Что все я слушать был бы рад  
Созвучья тайные, вникая  
В их зов причудливой мечтой...<sup>14</sup>

Из тех младенческих лет Вячеслав смутно запомнил и разговоры старших о шедшей тогда Франко-прусской войне. Впервые сквозь детские грезы он ощутил живое биение истории. Ему очень хотелось увидеть эту войну ночью во сне. Мог ли он тогда знать, что в старости станет очевидцем самой страшной, невиданной прежде войны...

В пять лет Вячеслав лишился отца. Иван Тихонович болел долго и тяжело. Чохотка в то время была неизлечимой болезнью и уносила многих. Но перед смертью он всем сердцем обратился к Христу и вернулся в Церковь, с которой долгие годы враждовал. Отец поведал матери, что ему явился святой Николай Мирликийский и велел повторять за ним причастные молитвы. Наутро к Ивану Тихоновичу пришел священник с Дарами. Вот какими запомнились сыну последние минуты жизни отца, его возвращение к Богу, о котором так долго и горячо молилась мать:

Христос приходит. Ожиданья  
Ей не солгали. Долгий час  
За дверью слышались рыданья,  
Перерывавшие рассказ  
Души, отчаяньем язвимой,  
Любовью позднюю палимой  
К Позвавшему издалека, —  
И тихий плач духовника...  
Был серый день; играл я дома  
И, бросив нехотя игру,  
Без слов был подведен к одру.

---

<sup>14</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 245, 246.

Страдальца смертная истома  
 Снедала; пот бежал рекой,  
 Он крест знаменовал рукой<sup>15</sup>.

Отец умер в марте 1871 года, а в декабре, встречая новый, 1872 год, мать, согласно семейному обычаю, гадала по Псалтири. Она велела пятилетнему Вячеславу не глядя, наугад, раскрыть книгу и пальцем указать строки. Выпал 151-й псалом: «Я был младшим в доме отца моего, мои пальцы настроили Псалтирь». «Так и бўди! – с радостью сказала мать, – ...станешь поэтом». Будущая судьба и предназначение Вячеслава Иванова приоткрылись в тот день впервые. Александра Дмитриевна всегда укрепляла в нем это высокое чувство избранничества. Своей закваской поэт был обязан матери. Как писал о ней С. С. Аверинцев: «Круг ее увлечений, который может показаться на фоне событий русской пореформенной жизни чуть ли не запоздалым отблеском патриархально-прекраснодушных времен Жуковского, был первой “духовной родиной” Вячеслава Иванова. Чертам этой “духовной родины” предстояло вновь и вновь проступать в его творчестве сквозь хитросплетения символистской мысли (например, то, что он будет называть в статьях 1914–1916 гг. своим “славянофильством”, довольно мало походит на славянофильство, но зато близко напоминает умонастроение Александры Дмитриевны). Почтительную память о матери поэт сохранил навсегда, этот пиетет, столь характерный для биографического фона его творчества, подчас побуждал его превращать историю своего “младенчества” в чересчур красивую легенду»<sup>16</sup>.

Впрочем, очень часто «легенда» определяет жизнь, а не наоборот. И счастлив тот, у кого в детстве такая легенда была.

После смерти отца Вячеслав остался с матерью и старушкой няней. Без кормильца семья, и прежде небогатая, совсем обеднела. Хорошо хотя бы, что были уже пристроены старшие братья. Они учились сначала в Межевом институте, а затем оба избрали военную карьеру – стали артиллерийскими офицерами. А Вячеслава с семи лет начали обучать иностранным языкам и русской словесности. Уроки ему давала дочь хозяина дома, в котором квартировала семья. От нее мальчик слышал о Кантемире и Ломоносове, читал наизусть их стихи вместе с державинской одой «Бог», «Власом» Некрасова и отрывками из пушкинского «Кавказского пленника». Ходил он и в частную начальную школу, созданную известным экономистом М. И. Туган-Барановским. Но главную роль в его развитии и воспитании продолжала играть мать. По ее совету Вячеслав начал каждое утро читать акафисты. Так с ранних лет в нем пробуждалось живое чувство красоты славянского языка, отзывавшееся в его стихах. Кроме того, они с матерью ежедневно прочитывали по главе из Евангелия. Как потом признавался поэт, с той поры он полюбил Христа на всю жизнь. Бесконечно много дали Вячеславу и совместные вечерние чтения. Мать умно и умело направляла его в выборе книг. В уже упомянутом «Автобиографическом письме», адресованном известному библиографу и историку литературы С. А. Венгерову, Иванов писал: «Медленно и с упоением – мне было тогда семь лет – прочитан был нами полный “Дон-Кихот”. Рано познакомила меня мать и со своим любимцем – Диккенсом.

Детскими книгами она учила меня пренебрегать: Андерсен был в ее глазах книгою не детской; Робинзон был мною усвоен, одновременно с “Дон-Кихотом”, в подлинной редакции; Жюль-Вернова поэма о капитане Немо была с восторгом мною изучена; десяти лет я увлекался “Разбойниками” Шиллера»<sup>17</sup>. Но не умалчивал поэт и о другой стороне своего детства, наложившей отпечаток на всю последующую жизнь: «Мать ревниво ограждала меня от частых сно-

<sup>15</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 252.

<sup>16</sup> Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 7, 8.

<sup>17</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 12.

шений с детьми соседей, находя их дурно воспитанными, и приучала стыдиться детских игр. Она бессознательно прививала мне утонченную гордость и тот индивидуализм, с которым я должен был долго бороться в себе в гимназические годы, и тайные яды которого остались во мне действенными и в зрелую пору моей жизни»<sup>18</sup>.

Незабываемыми впечатлениями детства стали для Вячеслава Иванова прогулки по Москве. Ощущение поэзии и красоты города накрепко переплелось в них с религиозным чувством. Вместе с матерью тихими и ясными летними вечерами «по обету» они совершали небольшие пешие паломничества от Патриарших прудов к Иверской или в Кремль. Навсегда осталось памятным поэту замирение сердца под сводами «полутемных соборов с их таинственными гробницами», где покоились великие князья, цари, московские митрополиты и патриархи. Словно живое предание Древней Руси воочию представало перед ним, дополняемое рассказами матери.

Праздником для мальчика стало и посещение Большого театра. Уже сама его обстановка – торжественный алый цвет бархатных лож, кресел, ливрей служителей, сверкающая множеством огней люстра – была пиршеством для зрения. А театральная тьма во время представления, звуки музыки, пения, декорации сцены – все словно бы переносило в иное время и пространство.

Полвека спустя в Большом театре доведется выступать и самому Вячеславу Иванову – на юбилейном торжестве к 125-летию со дня рождения Пушкина.

Свет памяти выхватил из детских лет и часы, проведенные в залах Румянцевского музея, где изображение отрока Вячеслава поразил слепок с Микеланджело «Моисея»:

В Музей я взят – и брежу годы  
Всё небылицы про Музей:  
Объяты мраком переходы,  
И в них, как белый мавзолей,  
Колосс сидящий – «Моисея»...  
Воображенье в сень Музея  
Рогатый лик перенесло,  
С ним память плавкую слило.  
В «Картинах Света» списан демон,  
Кого не мертвой глыбой мнил  
Ваятель, ангел Михаил.  
Бог весть, сковал мне душу чем он  
И чем смутил; но в ясный мир  
Вселился двойственный кумир<sup>19</sup>.

Так в жизнь отрока Вячеслава впервые вошла Италия. «Родное» встретилось с «вселенским». Будущий поэт выходил на тот путь, который до него проложили любимые им Гоголь, Баратынский и Тютчев – от московского семихолмия к итальянскому. От Третьего Рима – к Первому.

К городу, что станет главным в его судьбе. Станет венцом жизни.

Но прежде ему предстояло узнать и всем сердцем полюбить Москву. У него, человека глубоко московского по своим корням и воспитанию, было удивительное чувство родного города, самой его фактуры, цветовой гаммы. Впоследствии оно отзовется в стихотворении

<sup>18</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 12.

<sup>19</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 247.



1904 года «Москва», не случайно посвященном также одному из самых «московских» писателей – А. М. Ремизову:

Влачась в лазури, облака  
Истомой влаги тяжелеют.  
Березы никлые белеют,  
И низом стелется река.

И Город-марево, далече  
Дугой зеркальной обойден, —  
Как солнца зарных ста знамен —  
Ста жарких глав затеплил свечи.

Зеленой тенью поздний свет,  
Текучим золотом играет;  
А Град горит и не сгорает,  
Червонный зыбля пересвет.

И башен тесною толпою  
Маячит, как волшебный стан,  
Меж мглой померкнувших полян  
И далью тускло-голубою:

Как бы, ключарь мирских чудес,  
Всей столпной крепостью заклятий  
Замкнул от супротивных ратей  
Он некий талисман небес<sup>20</sup>.

Отсюда уже прямой путь к «московским» стихам Цветаевой...

Девяти лет от роду Вячеслава отдали в одно из лучших учебных заведений тогдашней Москвы – Первую московскую мужскую гимназию. Основана она была еще в 1803 году по распоряжению императора Александра I. Поначалу гимназия находилась в Китай-городе, на углу Варварки и Ипатьевского переулка, в бывшем доме Юстиц-коллегии, но из-за обветшалости здания уже в 1806 году встал вопрос о ее переезде. Город купил для нее на Волхонке у Пречистенских ворот усадьбу бригадира Лопухина, прежде принадлежавшую князю Волконскому. Во время наполеоновского нашествия 1812 года оба здания гимназии сгорели, и шесть лет она размещалась в доме Ланга в Среднем Кисловском переулке, 4. Наконец в 1819 году восстановление Лопухинского дома завершилось и гимназия вернулась в него. Здесь она существовала без малого сто лет, до самого своего закрытия в 1918 году. Первым ее директором был Петр Михайлович Дружинин, выдающийся педагог, человек неравнодушный, любивший своих учеников всем сердцем. Он собрал для гимназии прекрасную, богатую библиотеку и создал кабинет естественной истории. К тому же ему удалось привлечь значительные денежные пожертвования со стороны меценатов. Так, греческий аристократ З. П. Зосима внес по просьбе Дружинина десять тысяч рублей на преподавание греческого языка. Благодаря этому с 1815 года в гимназии существовал греческий класс, что сыграло ключевую роль в судьбе Вячеслава Иванова. В двенадцать лет, на год раньше, чем полагалось по программе, он добровольно начал изучать язык Гомера, Эсхила и Платона. К тому времени от небольшой суммы

---

<sup>20</sup> *Иванов Вяч.* Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 346.

денег, оставшейся после отца, не сохранилось ничего, и в четвертом классе гимназист Вячеслав Иванов вынужден был давать платные уроки древнегреческого языка своим сверстникам, чтобы помогать матери. Так началась его педагогическая деятельность. Позже он вспоминал, что «имел свободу читать и думать только ночью». Любовь к «божественной эллинской речи» Вячеслав Иванов пронес через всю свою долгую жизнь и всегда был чуток к тому, что роднило с ней русский язык. Незадолго до смерти поэт говорил, что если в Царстве Небесном ему запретят говорить и думать на древнегреческом, он будет очень огорчен.

Кроме греческого в гимназии преподавали латынь, французский и немецкий языки, русский с церковнославянским, словесность, Закон Божий, историю, географию, естествознание, физику, математику, астрономию, каллиграфию, рисование и черчение. Среди тех, кто в разное время учился в Первой московской мужской гимназии, были драматург Александр Островский, профессор математики Николай Бугаев, отец поэта Андрея Белого, будущего друга Вячеслава Иванова, историки Михаил Погодин и Сергей Соловьев, теоретик анархизма князь Петр Кропоткин, лидер кадетской партии профессор Павел Милюков, большевистский партийный деятель Николай Бухарин, писатель Илья Эренбург, поэт Максимилиан Волошин и другие известные люди.

Как вспоминал Вячеслав Иванов о решении матери отдать его именно в это учебное заведение, «выбор гимназии был также обусловлен соображениями эстетическими: она помещалась в красивом старом здании подле тогда еще не открытого храма Христа Спасителя»<sup>21</sup>.

Поступление Вячеслава в гимназию в 1875 году совпало с торжественным посещением ее Александром II. Воспитанный Александрой Дмитриевной в культе царя-реформатора, поэт позже рассказывал, как он замер от восторга, когда на залитой солнцем стене гимназического коридора увидел тень от сабли государя и услышал его слова: «Здравствуйте, дети».

История не раз проходила тогда перед его глазами. Два года спустя, когда шла Русско-турецкая война за освобождение Болгарии и Русские войска уже готовились взять Константинополь, Александра Дмитриевна и Вячеслав были охвачены пафосом всемирного славыянства. Поэт вспоминал об этом времени: «Оба мои брата, артиллерийские офицеры, были на войне, и один из них, ординарец при самом Скобелеве, приезжал на короткое время, по военному поручению, в Москву. Я посылал братьям в окопы письма, полные воинственно-патриотических стихов, которые признал через год детским лепетом»<sup>22</sup>.

Посчастливилось Вячеславу вместе с другими учениками Первой московской гимназии присутствовать и на открытии на Тверском бульваре в 1880 году опекушинского памятника Пушкину, видеть, как спадает покрывало с закутанной статуи, а затем попасть на посвященное этому великому событию торжественное заседание Общества любителей российской словесности в Московском университете, слышать выступления Тургенева, Островского, но главное – прожигающую насквозь пушкинскую речь Достоевского: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! <...> По крайней мере мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные»<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 12.

<sup>22</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 13.

<sup>23</sup> Пушкин А. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1981. Т. 10. С. 265.

Мы можем только догадываться, как жадно ловил четырнадцатилетний гимназист Иванов каждое слово одного из прямых наследников Пушкина в русской и мировой литературе. Но мог ли он знать тогда, слушая гения, что и ему предстоит принять эту эстафету всемирности и всечеловечности и осуществить их и пером, и самой своей жизнью?

В четырнадцать лет пережил Вячеслав и необычайно сильный религиозный подъем: ночью он часами простаивал перед иконами, горячо молясь, и порой даже засыпал на коленях. Александра Дмитриевна, с ее простой, крепкой и здоровой верой, не одобряла этих крайностей в духовной жизни сына, но и не препятствовала им, мудро давая Вячеславу возможность развиваться свободно и самому выстраивать свой путь к Богу.

Подъем очень скоро сменился кризисом. В пятом классе гимназии в умонастроении юноши произошел переворот. Он вдруг ощутил себя совершенным атеистом и революционером. По ночам Вячеслав теперь уже не молился, а запоем читал и герценовский «Колокол», и новейшие революционные издания. Эта перемена в его мировоззрении случилась незадолго до одной из самых страшных катастроф русской истории. 1 марта 1881 года террористами-народовольцами был убит Александр II. В отношении к этому событию и к смертному приговору, вынесенному заговорщикам, русское общество резко разделилось. Порой разлом проходил внутри одной семьи. Сочувствуя революционерам и считая казненных царевбийц мучениками свободы, Вячеслав с жаром защищал их в юношеских спорах, кипевших между гимназистами. Александра Дмитриевна была убита горем, которое еще больше усиливалось от разногласий с сыном, не скрывавшим от нее своих взглядов. Понять и принять новые воззрения Вячеслава мать не могла. Она не поступила подобно святой Монице, выгнавшей из дома Августина, когда тот впал в манихейскую ересь, но прежняя их дружба с сыном дала глубокую трещину.

А Вячеслав тогда еще не знал, что в то же самое время, когда он отстаивал доброе имя царевбийц в Москве, в Петербурге их жизнь защищал молодой профессор философии Владимир Соловьев. Он взывал к христианскому милосердию нового императора, призывая его простить убийц отца и не уподобляться революционерам в их презрении к человеческой жизни. Соловьев выступал против смертной казни даже для террористов. Скорее всего, гимназист пятого класса Первой московской гимназии Вячеслав Иванов даже не слышал имени Владимира Соловьева. До их встречи оставалось пятнадцать лет...

К концу гимназического курса вопрос об оправдании террора как средства социального переустройства, не дававший Вячеславу покоя несколько лет, решился для него окончательно. Выработалось устойчивое нравственное неприятие революционного насилия. Атеизм также не прошел для юноши даром – он привел его к глубочайшему унынию. Результатом стала попытка самоубийства в семнадцать лет, к счастью, неудавшаяся.

Но при этом – вот ведь парадокс! – в те же самые годы неверия и революционных увлечений Вячеслав Иванов сочиняет две поэмы, в центре которых – Христос. Одна из них называлась «Иисус» и была посвящена искушению Спасителя в пустыне. Другая – «Легенда» – выдержана в духе средневекового предания и написана размером старинного испанского романа. Она рассказывает о еврейском мальчике-музыканте из Толедо, который однажды вошел в готический собор и там ему явился Христос. Встретив взгляд Спасителя, полный любви, мальчик всем сердцем почувствовал необоримое стремление к Нему:

Зашумели крылья духов,  
Поднялася Божья сила,  
И рука Господня мощно  
На плече моем почил.  
О, куда меня влечешь Ты?  
О, зачем Ты, полн укора,  
Полн любви передо мною,

Свет таинственного взора?<sup>24</sup>

Три ночи подряд мальчик тайком пробирался в собор и играл там на органе, радостно чувствуя рядом присутствие Христа. Отец выследил мальчика и понял, что тот хочет уйти от веры предков в христианство. В отчаянии он решает принести любимого сына в жертву Богу Авраама, Исаака и Иакова. Но по молитве мальчика Христос с любовью уводит его душу в Свое Царство. Выйдя из собора, отец видит, что держит на руках бездыханное тело сына.

Вячеславу Иванову даже предложили напечатать эту поэму в «Русском вестнике» М. Н. Каткова, журнале, где увидели свет «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Критика Отвлеченных Начал» Вл. С. Соловьева и многие другие выдающиеся произведения литературы и философии XIX века, но он отказался, сочтя публикацию в столь реакционном издании предосудительной.

Обращение юного Вячеслава Иванова к таким сюжетам не было случайным. Ведь в последние десятилетия XIX века революционные мотивы и настроения очень часто переплетались с религиозными. А в русских мальчиках того времени, своим душевным складом напоминавших Ивана Карамазова, жила неистребимая тоска по утраченной вере. Великий историк XX столетия Г. П. Федотов писал об этом так: «За Лавровым, за Боклем явно стоит образ *инного Учителя*, зовущего на жертвенную смерть. Если от мира подпольных социалистов обратиться к искусству 70-х годов, то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи передвижников – всюду возносится сорванная с киота икона Христа: Крамской, Polenov, Ге, Некрасов, Надсон не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты. Этот бледный Христос, слишком очеловеченный, слишком нежный, может раздражать людей консервативной церковной традиции. Но еще большой вопрос, чей Христос ближе к Подлиннику... Атеисты-народники отзываются о Христе всегда с величайшим уважением. Они проникнуты сознанием, что социализм обосновывается в христианской этике»<sup>25</sup>.

Впрочем, при всей схожести между христианством и социализмом было и одно коренное различие, которое с абсолютной точностью подметил Вл. Соловьев, сказав однажды, что для осуществления в мире Царства добра и правды христиане отдают свое, а социалисты хотят отобрать чужое...

Упомянутый же Федотовым Семен Яковлевич Надсон был старше Вячеслава Иванова всего лишь на три года. Но в юности такая разница порой становится эпохальной. Когда Вячеслав учился в старших классах гимназии, двадцатилетний поручик Семен Надсон уже входил в литературу. Тогда же началась и его дружба с Дмитрием Мережковским, ровесником и будущим постоянным собеседником Вячеслава Иванова в Серебряном веке. Обычно Надсона было принято относить к поэтам второго ряда, но без него невозможно представить себе целую эпоху, которая вслед за ним рифмовала «идеал» с «Ваалом» (первый должен был восторжествовать, второй – погибнуть). Надсон умер от чахотки, болезни, не случайно уносившей в те годы столь многих, связанной с каким-то тайным внутренним надрывом. Ему не минуло и четверти века. Сослагательного наклонения история не терпит, но можно предположить, что, доживи Надсон до 1890-х годов, он, подобно Мережковскому, стал бы одним из первых русских символистов. Мотивы гражданской жертвенности в его поэзии всегда были религиозно окрашены. Недаром он, не находя евангельского идеала в окружающей его жизни и в официальном православии, обратился в поэме «Христианка» ко временам мучеников катакомбной Церкви. Вряд ли кто-нибудь мог тогда и помыслить, что в следующем столетии эпоха мученичества и исповедничества наступит в России, когда гонения на Церковь превзойдут все прежние, а миру будут явлены новые великие примеры стойкости и страданий за веру...

<sup>24</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 14, 15.

<sup>25</sup> Федотов Г. Судьба и грехи России: В 2 т. СПб., 1991. Т. 1. С. 90.

От гимназического атеизма Вячеслава Иванова очень скоро не осталось и следа. И впоследствии и в юношеские, и в зрелые годы его духовный поиск, сколь бы сложен он ни был, всегда проходил в русле религиозном. Что же до революционных настроений, то они трансформировались в чаяния свободы, всенародного и всечеловеческого «соборного» единства, где скрепляющая роль принадлежит искусству, в неприятие самодержавия (при этом Вячеслав Иванов был противником его насильственного свержения), шовинизма, черносотенства, «политических притязаний национального своекорыстия». Но вместе с тем Вячеслав Иванов вслед за славянофилами и Достоевским верил в особое призвание России, ее избранничество и религиозно-мистическую основу русского народного духа. Впоследствии и свою поэзию, и свои историко-филологические исследования он будет воспринимать как служение всенародному делу.

В русском символизме ему откроется возможность возвестить миру «Вселенской Общины спасительное слово».

Еще в начале 1880-х годов Вячеслав Иванов написал стихотворение «Ясность». Оно было настолько зрелым, что два десятилетия спустя поэт включил его в свою вторую книгу стихов «Прозрачность». Посвятил он это стихотворение гимназическому другу Владимиру Калабину, человеку, сумевшему разгадать его одним из первых. В шестом классе Вячеслав получил от Калабина такую записку: «Я Вас угадал. Вас никто не знает. Вы поэт». В «Автобиографическом письме» Иванов вспоминал о товарище своей юности: «Читая мне без усталости и нараспев стихи Пушкина и Лермонтова и указывая на “жесткие” строки в моих собственных произведениях, он разбудил и развил во мне мои первоначальные, детские лирические восторги»<sup>26</sup>.

Со стихотворения «Ясность» и начался отсчет поэзии Вячеслава Иванова:

Ясно сегодня на сердце, на свете!  
Песням природы, в согласном привете  
Внемлю я чуткой душой:  
Внемлю раздумью и шепоту бора,  
Речи безмолвной небесного взора,  
Плеску реки голубой.

Смолкли, уснули, тревожны, угрюмы,  
Старые Сфинксы – вечные думы;  
Движутся хоры пленительных грез;  
Нет своей радости, нет своих слез.

Радости чуждой, чуждой печали  
Сердце послушно. Ясны,  
Взорам доверчивым въяве предстали  
Воображенья волшебные дали,  
Сердце манящие сны<sup>27</sup>.

Мотив этого стихотворения – переживание того, что любимый поэт Вячеслава Иванова, Тютчев, назвал «божески-всемирной» жизнью природы, чувство собственной сопричастности ей – пройдет через всю жизнь и отзовется в поздних стихах из «Римского дневника».

В последних классах гимназии Вячеслав крепко подружился с Алексеем Дмитриевским. Молодых людей объединила любовь к древнегреческой словесности. Вместе они переводили

<sup>26</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 14.

<sup>27</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 761.

Софоклова «Эдипа-царя», причем не пятистопным ямбом, которым обычно пользовались переводчики, чтобы передать на русском античный размер, а настоящими ямбическими триметрами. Уже тогда в Вячеславе Иванове был виден будущий экспериментатор с древнегреческими метрами в российском стихосложении.

Окончив Первую московскую гимназию, Вячеслав Иванов и Алексей Дмитриевский вместе поступили в Московский университет. И здесь Вячеслав Иванов вполне мог бы повторить за другим замечательным знатоком классической античности в Серебряном веке, Иннокентием Анненским, его фразу: «В университете со стихами – как отрезало». После ранних стихотворных опытов почти на двадцать лет Вячеслав Иванов как поэт смолкает. Эти годы он посвятит даже не античной филологии, как Анненский, а исторической науке. Поэтическое же становление Вячеслава Иванова, одного из главных действующих лиц эпохи русского символизма, произошло необычайно поздно. Как он сам признавался: «До 1903 года я не был литератором».

В университете Вячеслав посещал лекции только лучших профессоров. Он с восторгом слушал В. О. Ключевского. П. Г. Виноградов давал ему книги из своей библиотеки. Талантливого и трудолюбивого студента сразу же заметили. Уже на первом курсе он получил премию за работу по древним языкам.

Продолжалась дружба Вячеслава с Алексеем Дмитриевским. Теперь Алексей занимался уже не переводами Софокла, а историей русского крестьянства. Жизненные воззрения обоих юношей были столь же чисты, возвышенны и идеальны, как прежде, но будущее свое они видели по-разному. Алексей хотел прожить с пользой для других, скромным и незаметным тружеником. Его влекло тихое жертвенное повседневное служение общему делу. Вячеслав же, напротив, жаждал яркой, творческой жизни, полной великих свершений, пусть даже и трагической. В доме Дмитриевских он бывал постоянно. Алексей, как и Вячеслав, лишился отца в раннем детстве, и его семья состояла из матери и сестры Дарьи, ученицы консерватории. В свободное от совместных занятий время друзья любили слушать, как Дарья играет им Бетховена и Шуберта. Весной, когда семейство выезжало на дачу, Вячеслав часто навещал Дмитриевских, и они с Дарьей подолгу гуляли, любясь прекрасными видами полей, лугов и лесов, озаренных светом заходящего солнца в вечерней тишине, беседуя о музыке и поэзии.

Так прошло два года университетской жизни, которая с первых дней показалась Вячеславу Иванову, по его собственному признанию, «священным пиршеством». В 1886 году как один из лучших студентов он был направлен на обучение в Берлинский университет, в семинарий прославленного историка Древнего Рима, автора монографии, ставшей классическим трудом, – профессора Теодора Моммзена. Отъезд в Германию на долгое время как раз соответствовал тогдашнему настрою Вячеслава Иванова, способствовал выходу из внутреннего тупика, порожденного неразрешимостью внешних жизненных обстоятельств, о чем он позже вспоминал: «На родине мне не сиделось: было душно и жутко. Дальнейшее политическое бездействие – в случае, если бы я остался в России, – представлялось мне нравственной невозможностью. Я должен был броситься в революционную деятельность, но ей я уже не верил»<sup>28</sup>. В молодом студенте тогда боролись, сталкиваясь и переплетаясь между собой в сложном и парадоксальном сочетании, три голоса: общественная позиция интеллигента, жажда познаний и внимательного самоуглубленного труда ученого и то главное, сокровенное еще призвание, черед которого был впереди.

Конечно, гораздо больше, чем римская история, Вячеслава Иванова манила древнегреческая словесность, любимая им с отрочества. Еще в последнем классе гимназии директор И. Д. Лебедев, преподававший в ней латынь, предлагал Вячеславу, как первому ученику, свою протекцию – устроить его казенным стипендиатом в филологический классический семина-

<sup>28</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 15.

рий Лейпцигского университета, руководимый знаменитым ученым Риббеком. Но Вячеслав отказался от этого предложения по двум причинам.

Во-первых, ехать в Лейпциг стипендиатом на казенный счет означало бы принимать деньги от царского правительства, что в среде тогдашней «передовой» интеллигенции считалось делом постыдным и недостойным.

Во-вторых, классическая филология как таковая была у той же передовой интеллигенции на плохом счету. Она почиталась занятием исключительно ретроградным. Не случайно же главный герой чеховского «Человека в футляре» Беликов, всю жизнь строивший по правительственным циркулярам, преподавал в гимназии греческий язык. Интеллигенция видела в классической филологии некий зловерный замысел правительства – отвлечь юношество от современности, от политической борьбы, от революции. Поэтому общественное мнение клеймило тех, кто выбрал эту область науки. А поскольку «либеральная жандармерия» (тем паче радикальная) у нас всегда была намного круче мундирной, немногие решались «грести против течения», делать свой жизненный выбор, не обращая внимания на насмешки, косые взгляды и недоброжелательство сверстников. Для «порядочных интеллигентов» в те годы самым достойным считалось учиться на естественном факультете, «резать лягушек», подобно тургеневскому Базарову. К почтенным занятиям относились также юриспруденция и статистика. Так, выдающийся деятель русского религиозного возрождения XX века отец Сергей Булгаков вспоминал, что в юности его влекло к филологии, но в связи с веяниями времени, под влиянием общественного мнения и политических настроений он поступил на юридический факультет и стал экономистом. По той же причине Вячеслав Иванов выбрал древнеримскую историю, которая не считалась столь предосудительным и ретроградным делом, как греческая словесность. Деспотизм «прогрессивной общественности» на поверку оказался намного сильнее деспотизма власти, а путь к той заветной пушкинской свободе «Из Пиндемонти» всегда был труден и тернист. Университетские наставники Вячеслава Иванова благословили его учиться в Германии. Немецкая ученость уже давно славилась по всей Европе своей глубиной. И Россия была обязана ей бесконечно многим – от Ломоносова до гёттингенских питомцев, обучавших в Лицее юного Пушкина. В Вячеславе Иванове также видели будущую надежду русской науки. Как сам он писал: «Мои профессора расстались со мною, по окончании второго курса, весьма благожелательно: В. И. Герье нашел мое решение учиться в Германии разумным; проф. Зубков <...> дал мне в Бонн к Бюхелеру и Узенеру рекомендательные письма (увы, я ими не воспользовался, далеко обегая свою суженую и избранницу сердца – античную филологию), П. Г. Виноградов выработал для меня программу последовательных занятий у Гизебрехта, Зомы и Моммзена»<sup>29</sup>.

Уехать в Германию, чтобы учиться там музыке, собиралась и Дарья. К тому времени их общение с Вячеславом переросло во взаимное увлечение. Со стороны Иванова это чувство во многом коренилось в привязанности к семейству Дмитриевских и особенно в дружбе с братом девушки. О супружестве с Дарьей он и не думал – образ женатого студента казался ему жалким зрелищем. И хотя позже он писал в «Автобиографическом письме» С. А. Венгерову, что страстно влюбился в сестру друга, скорее всего, это была юношеская влюбленность.

Александре Дмитриевне Дарья по сердцу не пришлась. Она не одобряла увлечения сына. Но поскольку правила в отношениях между людьми тогда были строгими и молодой человек, часто бывавший в гостях в семье девушки, уже почитался женихом, мать сказала Вячеславу, что он должен жениться, чтобы не компрометировать барышню.

Мать Алексея и Дарьи умоляла его о том же. Обладая странным даром предвидения, она говорила Вячеславу, что его союз с Дарьей не будет счастливым и закончится распадом, но все равно убеждала жениться, настойчиво повторяя, что так надо. Почему, Вячеслав понять не мог, тем не менее браку суждено было состояться. Обвенчавшись с Дарьей Дмитриевской

<sup>29</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 16.

в 1886 году, в скором времени вместе с ней он уехал в Германию, чтобы там в Берлинском университете учиться у профессора Моммзена. Начинался новый этап его жизни. Привычный, родной, домашний мир Москвы остался позади. Перед Вячеславом открывался Запад – «страна святых чудес» со всей ее безмерностью, которую теперь надо было вместить умом и сердцем, полюбить и принять, как свой мир.



## Глава II

### Дионисова гроза. 1886–1895 годы

В Берлин молодые приехали в начале осени. До этого они совершили небольшое «свадебное путешествие» по Германии, познакомившись с некоторыми из ее достопримечательностей. Вячеслав Иванов вспоминал в «Автобиографическом письме»: «Германия встретила нас еще на море доносившимся с берега благоуханием цветущих лип. Вскоре я увидел и прирейнские замки, и готические соборы, и Сикстинскую Мадонну, и трирскую Nigra»<sup>30</sup>.

Вячеслав и Дарья поселились в Берлине в недорогой мансарде. Первый семестр занятий в университете, по признанию Вячеслава, ушел на усвоение немецкого языка, то есть на овладение им в совершенстве. Позже дочь поэта, Лидия Иванова, вспоминала такой забавный эпизод: однажды она попросила отца написать за нее гимназическое сочинение о Шиллере и Гёте на немецком языке. Вячеслав эту просьбу выполнил. На следующий день разгневанная учительница уличила Лидию в «плагиате». И в самом деле – сочинение было написано изящным стилем конца XVIII столетия, немыслимым в начале XX века, да еще у русской отроковицы-гимназистки!

В семинарии Моммзена Вячеслав учился с упоением, сразу с головой уйдя в университетские занятия. Ему пришлось по сердцу возвышенный, аскетический дух немецкой науки, умение всего себя без остатка отдавать делу жизни. Уже к концу второго семестра Вячеслав представил профессору свое исследование о податном устройстве Египта в те годы, когда он был римской провинцией. Исследование было написано безукоризненным немецким языком. Моммзен отозвался об этой работе одобрительно, правда, подметив слишком «правильный» язык иностранца, сказал студенту: «Чувствуется, что вы боролись с языком. Почему вы не написали на латыни?» Знаменитый ученый с первых дней знакомства привел Вячеслава в восторг. Впоследствии вспоминая о нем, поэт писал: «Я восхищался каждым, всегда внезапным и нетерпеливым, движением этого тщедушного и огненного старика, в котором мысль и воля сливались в одну горящую энергию, каждую вспышкой его гениального и холерического ума. Вот несколько строк о нем из моего стихотворного дневника:

В сей день счастливый Моммзен едкий  
Меня с улыбкой похвалил.  
Он Ювенала очертил  
Характеристикою меткой,  
Тревожил искры старых глаз  
И кудрями седыми тряс»<sup>31</sup>.

По принципиальным соображениям отказавшись от казенной стипендии со стороны русского правительства, Вячеслав Иванов, чтобы прокормить себя и жену, вынужден был совмещать ученые занятия с работой. Впрочем, к этому ему было не привыкать еще с гимназических лет, когда он давал сверстникам уроки греческого языка, чтобы помочь матери. Теперь же в Берлине он зарабатывал на жизнь редакторским и секретарским трудом – правил материалы по международной политике для корреспондентского бюро и был частным секретарем у агента русского министерства финансов камергера Куманина.

---

<sup>30</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 16.

<sup>31</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 16, 17.

Среди других участников семинария Вячеслав Иванов сделался постоянным гостем на «тесненькой вилле» Моммзена, часто ужинал у него. В Германии, когда студент становился своим человеком в доме профессора, означало, что тот видит в нем будущего выдающегося ученого. Моммзен проникся самыми добрыми чувствами к талантливому и трудолюбивому ученику, подающему большие надежды. Однажды Моммзен спросил Вячеслава, как долго тот собирается оставаться в Берлине. Иванов ответил, что хотел бы на возможно более долгое время, но боится, что может начаться война между Германией и Россией.

Сегодня, после страшного опыта XX столетия, тогдашняя европейская жизнь представляется нам тихой, уютной и безмятежной, но в ней незаметно зрела грядущая катастрофа, и лишь немногие различали ее своим чутким слухом. Эпоха «тридцати шести княжеств», эпоха слабости и раздробленности, давшая тем не менее созвездие великих имен в мировой культуре и науке, безвозвратно ушла в прошлое для Германии, объединенной Бисмарком. Теперь ее устремления были иными. Опоздав к дележу рынков и колоний, она всеми силами жаждала наверстать упущенное. Растущая день ото дня промышленная и военная мощь требовала расширения жизненного пространства. Дремавший прежде воинственный дух явственно пробуждался вновь. Еще в самом конце Крымской войны Пруссия грозила выступить на стороне Британии, Франции и Османской империи против России.

В поэме «Германия. Зимняя сказка» Генрих Гейне, смеясь над средневеково-романтическими стилизациями в прусской военной форме 1840-х годов, писал:

Зато кавалерии новый костюм  
И впрямь придуман не худо;  
Особенно шлем достоин похвал,  
А шпик на шлеме – чудо!  
Здесь ясно виден рыцарский дух,  
Романтика в каждой детали.  
Как будто Иоганна де Монфокон  
Иль Тик и Уланд предстали.  
<...>  
Боюсь только, с этой романтикой – грех:  
Ведь если появится тучка,  
Новейшие молнии неба на вас  
Притянет столь острая штучка.  
Советую выбрать полегче убор  
И на случай военной тревоги:  
При бегстве средневековый шлем  
Стеснителен в дороге!<sup>32</sup>

Гейне тогда, конечно же, ни секунды не сомневался, что в случае военного столкновения Франция, словно бы воплотившая в себе самый дух прогресса, легко победит отсталую, полупфеодальную Германию. Так же, наверное, более чем четверть века спустя, в 1870 году, полагал и император Франции Наполеон III, которому не давали покоя военные лавры его дяди. Он стремился взять реванш за поражение 1814 года, но в результате французская армия была наголову разбита, а прусские войска оказались под Парижем. Впоследствии от окончательного военного разгрома Францию спасли только дипломатические усилия европейских держав, в том числе и России.

<sup>32</sup> Гейне Г. Избранные произведения. М., 1950. С. 594, 595.

А в 1879 году, когда Германская империя заключила Двойственный союз с Австро-Венгрией, ее стремление доминировать в Европе стало очевидным. Новый немецкий кайзер Вильгельм II, взошед на престол в 1888 году, тут же отправил в отставку Бисмарка, единственного политического деятеля, который был способен удержать его от необдуманных и роковых шагов, и начал править самонадеянно и тупо, готовя неисчислимые бедствия и своей стране, и многим другим...

Тогда на опасения Вячеслава Иванова профессор Моммзен с улыбкой ответил ему: «Мы не так злы». Катастрофе суждено было произойти уже в следующем столетии. До нее оставалось меньше тридцати лет. Но набирающий в те годы силу немецкий национализм, последствия которого Вячеславу Иванову, современнику двух мировых войн, пришлось увидеть воочию, расцветал теперь у него на глазах и был отвратителен ему, впрочем, как и всякий другой зоологический шовинизм, вырастающий из попытки компенсировать свою личную ничтожность видовой принадлежностью и мнимым превосходством. Да и сам профессор Моммзен, хотя и успокаивал ученика относительно намерений Германии, тем не менее в беседах с участниками своего семинария нередко высказывал мысль, что скоро должен наступить период нового варварства и поэтому надо спешить с завершением огромных работ, начатых учеными-гуманистами XIX века. Правда, Моммзен ничего не говорил о причинах этого предстоящего одичания Европы. О них уже в XX веке, когда человека культуры с исторической сцены вытеснил «военно-спортивно-технический дикарь», по точному определению Г. П. Федотова, суждено было размышлять Шпенглеру в «Закате Европы», Бердяеву в «Смысле истории» и другим мыслителям Нового времени.

А пока спокойная европейская жизнь шла изо дня в день своим чередом. Тихое, размеренное и самоуглубленное существование молодого ученого вел в это время и Вячеслав Иванов. Ничто в его берлинском уединении и намеком не выдавало будущего поэта, мэтра символистов, олицетворявшего собой самый быт нового направления русской поэзии. В 1888 году в семье рождается дочь Александра, получившая имя в честь бабушки, Александры Дмитриевны. Вячеслав усердно занимается в университетской библиотеке, совершает поездку в Лондон, где много времени проводит в Библиотеке Британского музея, едет в Париж, посещает в 1891 году парижскую Национальную библиотеку. И в Париже, хотя в то время Вячеслав Иванов к поэзии почти не возвращался, да уж видно, сам воздух этого города пробуждает к ней, «стишонки прокинулись», как говорил И. Ф. Анненский применительно к себе, – сложился цикл «Парижские эпиграммы».

В античную эпоху «эпиграмма», в отличие от более поздних времен, означала стихотворную надпись на здании, статуе или сосуде, прославляющую богов или героев. Затем это слово стало обозначать обращение к кому-либо, нравоучение, восхваление или порицание. Но у Вячеслава Иванова оно словно бы возвращается к своему изначальному жанровому значению настенной надписи. «Парижские эпиграммы», как позднее охарактеризовал их Блок, «острые, краткие, стильные», были связаны с размышлениями над главным лозунгом французской революции – «Liberte, Egalite, Fraternite» («Свобода, Равенство, Братство») и отличались поистине латинской лапидарностью и емкостью и одновременно антиномичностью. Вячеслав Иванов с глубоким уважением относился к культуре Франции и ее свободолюбию.

Здесь гремят тройным аккордом  
Прав великих имена...  
О, счастливая страна!  
Что носил я в сердце гордом,  
Носит каждая стена<sup>33</sup>.

<sup>33</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

Но вместе с тем, когда за два года до этого отмечалось столетие французской революции, к чему была приурочена Всемирная выставка в Париже, Вячеслав в письме Алексею Дмитриевскому писал, что Франция празднует «юбилей секиры», и сравнивал Эйфелеву башню – знак прогресса и самопревозношения человеческой цивилизации – с башней Вавилонской. К тому времени от прежнего юношеского материализма Вячеслава Иванова давным-давно не осталось и следа. Обращаясь к брату жены и своему старому другу, он утверждал, что великие произведения искусства всегда имеют религиозное значение и соучаствуют в Божественном замысле и творчестве. К письму прилагалось стихотворное послание «Ars Mystica», написанное шестистопным ямбом – александрийским стихом, в котором Вячеслав Иванов провидел все беды грядущего столетия – и войны, и революции, – главная причина которых заключалась в одном – люди забыли Бога. В этом же стихотворении говорилось и о пророческом назначении поэта:

В те дни, как племена, готовя смерть и брани,  
Стоят, ополчены, в необозримом стане,  
И точат нищие на богача топор,  
И всяк – соперник всем, и делит всех раздор,  
Когда, как торгаши, тому хотим лишь верить,  
Что можем мерою ходячею измерить, —  
Христово царствие теперь ли призывать?  
Но волен жрец искусств: ему дано воззвать, —  
Да прозвучит в ушах и родственно и ново —  
Вселенской Общины спасительное слово<sup>34</sup>.

Слова «Свобода, Равенство и Братство» для русского были всегда столь же священны, сколь и для француза. Но существовало и известное различие в их восприятии. Еще Пушкин в стихах «Из Пиндемонти» осмысливал свободу не столько как внешнюю, социально-политическую, но прежде всего как личностную, внутреннюю, глубинную. Пушкинскому завету последовала русская поэзия. Воспринял его и Вячеслав Иванов. В «Парижских эпиграммах» он размышлял о том главном, изначальном, сущностном, в чем на самом деле коренятся и обретают свой подлинный смысл драгоценные понятия Свободы, Равенства и Братства, без чего они вырождаются в пустые, ничего не значащие декларации и становятся насмешкой над самими собой.

«Братство, Равенство, Свобода» —  
Эти пугала царей —  
Стерегут права народа  
У Христовых алтарей...  
Ты ведь царь, о, Назарей!<sup>35</sup>

Любопытно, что впоследствии первый стихотворный сборник Вячеслава Иванова, куда вошел его парижский цикл, эта эпиграмма под названием «Qui pro quo» («Путаница») не была пропущена цензурой. Поэт заменил ее другой – «Скиф пляшет», где говорится о том, что составляет основу различия между французской и русской культурой:

Стены Вольности и Прав

<sup>34</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 18, 19.

<sup>35</sup> Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 76.

Диким скифам не по нраву.  
Guillotin учил вас праву...  
Хаос – волен! Хаос – прав!  
Нам, нестройным, – своеволие!  
Нам – кочевье! Нам – простор!  
Нам – безмежье! Нам – раздолье!  
Грани – вам, и граней спор.  
В нас заложена алчба  
Вам неведомой свободы.  
Ваши веки – только годы,  
Где заносят непогоды  
Безымянные гроба<sup>36</sup>.

Позже Франсуа Мориак определял идеальный роман как сочетание французского порядка с русской глубиной и безмерностью.

Той же разнице в «цивилизационном коде» европейских народов была посвящена и другая «парижская эпиграмма» – «*Suum cuique*» («Каждому свое»):

Имя Братства и Свободы  
Чтут начертано народы:  
Галл – на храмах и дворцах,  
Бритт – в законах, мы – в сердцах<sup>37</sup>.

Споры о путях России и Запада начались с мучительных вопросов Чаадаева и длились к тому времени уже более полувека. И что говорить – многолетняя привычка к деспотизму, хроническое опоздание реформ, отсутствие ясно прописанных, закрепленных и защищенных законом прав личности, основополагающих свобод, общественных институтов, давно сложившихся во Франции и Великобритании, разрешали это сравнение отнюдь не в пользу России.

Но было в ее жизни и другое. Обостренное чувство неблагополучия, того, что мир находится в недолжном, падшем состоянии, лежит во зле, будило мысль и совесть, не оставляло возможности удовлетвориться чем-то усредненно-промежуточным, заставляло идти до последней глубины, искать высшей правды – правды Града Небесного. Без этого не было бы ни отчаянного побега пушкинского «Странника», ни «божески-всемирной» жажды Тютчева, ни вселенской любви Владимира Соловьева, ни вулканически-глубинных прорывов Достоевского. Без этого, в конечном счете, «Свобода, Равенство и Братство» оборачивались адом и смертью – то, что Вячеслав Иванов разглядел в облике современной ему европейской цивилизации и с нескрываемой иронией изобразил в двух парижских эпиграммах. Одна из них называлась «*Jura mortuorum*» («Права мертвых»):

Вот – кладбище, и у входа:  
«Братство, Равенство, Свобода...»  
Здесь учился Данте сам  
Силе дверных эпиграмм!<sup>38</sup>

Другая – «*Jura vivorum*» («Права живых»):

---

<sup>36</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 627.

<sup>37</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

<sup>38</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

«Братство, Равенство, Свобода» —  
Гордо блещут с арки входа.  
«Что за мрачные дома?»  
«Наша, сударь, здесь — тюрьма...»<sup>39</sup>

Размышлять о различиях и многообразии европейских культур, о их великих взлетах, кризисах и тупиках Вячеславу Иванову предстояло еще очень много. И более того – мог ли он догадываться тогда, что ему самому выпадет стать одним из главных участников такой эпохи невиданного расцвета и подъема, которая обернется столь же грандиозным обрушением, особенно в России!

Теперь же Вячеслав Иванов отдавал свои силы изучению незыблемой основы всей европейской цивилизации, в том числе и русской, – Рима, его государственного, правового и общественного устройства. Владимир Соловьев в те же годы писал в стихотворении «Ex Oriente lux»:

И силой разума и права —  
Всечеловеческих начал —  
Воздвиглась Запада держава,  
И миру Рим единство дал<sup>40</sup>.

Без этой прививки «разума и права» невозможно было считать себя европейцем, ощущать глубинную принадлежность мировой, да и своей собственной истории.

О, Русь! в предвиденье высоком  
Ты мыслью гордой занята;  
Каким ты хочешь быть Востоком:  
Востоком Ксеркса иль Христа?<sup>41</sup>

Отвергнув римскую правовую традицию с ее уважением к личности, человеческой жизни, частной собственности, можно было стать лишь «востоком Ксеркса»...

Молодой ученый усердно занимался историей равенского экзархата, византийскими учреждениями в Южной Италии, разрабатывал тему государственных откупов как во времена Римской республики, так и в имперский период. Уже к концу второго года обучения у Моммзена Вячеслав Иванов представил первый набросок своей будущей диссертации. Этот проект признали серьезной работой. Но все же римской историей его заставлял заниматься скорее долг, чем призвание. Конечно, это ни в коей мере не умаляло значения «латинской прививки» в жизни Вячеслава Иванова – она дисциплинировала его дух и мысль, укрепила внутренний стержень, помогла сохранить личность вопреки многим будущим разрушительным вихрям. И тем не менее сердце по-прежнему неудержимо влекло его к «ретроградному и предосудительному» занятию – античной филологии. Вячеслав слушал лекции лучших филологов Берлинского университета, серьезно изучал греческую и латинскую палеографию и даже переводил древнегреческую поэзию на латынь. Один из московских профессоров Иванова, П. Г. Виноградов, приехав в Берлин и встретившись с Вячеславом, настоятельно советовал ему совмещать изучение римской истории и классической филологии. Виноградов надеялся, что, вернувшись в Москву, Вячеслав Иванов сможет преподавать в университете обе эти дисциплины. Скорее

---

<sup>39</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 628.

<sup>40</sup> Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 385.

<sup>41</sup> Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 385.

всего, и сам Вячеслав видел тогда свое будущее таким. С товарищами по Московскому университету он постоянно общался и в Германии. В «Автобиографическом письме» Иванов позже вспоминал: «Немало было у меня и знакомств среди молодых русских ученых, работавших в Берлине. Помню празднование Татьянина дня в отдельном кабинете ресторана с П. Г. Виноградовым, кн. С. Н. Трубецким, А. И. Гучковым, В. В. Татариновым (учеником Виноградова) и проф. Гатцуком»<sup>42</sup>.

Но в 1890-е годы тихая и размеренная жизнь Вячеслава Иванова вдруг изменилась до неузнаваемости. Главных причин тому было две.

Во-первых, через занятия классической филологией Вячеслав открыл для себя только обретавшего тогда знаменитость одного из будущих властителей дум XX столетия – Фридриха Ницше. Тот тоже начинал как филолог академического направления. Ученик профессора Ригля, он защищал докторскую диссертацию «Об источниках Диогена Лаэртского», преподавал в Базельском университете. Но вскоре Ницше отверг путь традиционной античной филологии. Знаком разрыва с ней стала книга, произведшая эффект разорвавшейся бомбы, – «Рождение трагедии из духа музыки». Лейпцигский издатель, которому Ницше в 1871 году принес это сочинение, отказался его печатать. Книга вышла лишь год спустя. В ней Ницше утверждал, что греческая трагедия родилась из музыки и хорового пения древних дионисийских мистерий, из всеобщего действия: «Здесь иллюзия культуры была стерта с первообраза человека, здесь открывался истинный человек, бородатый сатир, ликующий пред лицом своего бога.

...Хор – это живая стена, воздвигнутая против напора действительности, ибо он – хор сатиров – отражает бытие с большей полнотой, действительностью и истиной, чем обычно мнящий себя единственной реальностью культурный человек. <...> Публика аттической трагедии узнавала себя в хоре оркестры, что, в сущности, никакой противоположности между публикой и хором не было, ибо все являло собой лишь один большой величественный хор пляшущих и поющих сатиров... Сцена совместно с происходящим на ней действием в сущности и первоначально была задумана как *видение* и что единственной “реальностью” является именно хор, порождающий из себя видение и говорящий о нем всею символикою пляски, звуков и слова»<sup>43</sup>.

Через эллинскую культуру и прежде всего трагедию Ницше вышел к ее глубинным, архаическим истокам. «Дух музыки» связан у него с дионисийством – одним из самых древних, оргиастических, стихийных культов Эллады, пришедших с севера Балкан, из дикой Фракии.

Дионис – это бог «ночной», темной, хаотической стороны человеческой души, бог слез и пляски, вина и загробного мира, смерти и воскрешения, искупления и экстаза. Несясь в вихре вакхического танца, человек забывает о границах между собой и природой, между ликованием и скорбью и, увы, между добром и злом. «О, бурь уснувших не буди – под ними хаос шевелится!» – писал о подобном состоянии души Тютчев, поэт необычайно чуткий ко всему «ночному» и стихийному. У самого Ницше с его «дионисийским» упоением жизнью впоследствии проявились и темные стороны мировоззрения – неморальное отношение к бытию (недаром же одна из главных книг получила название «По ту сторону добра и зла»), философское оправдание жестокости и насилия, наконец, культ сильной человеческой особи, «белокурой бестии». Это латинское слово, означающее «зверь», в русском языке не случайно по созвучию отозвалось «бесом». Второй, побочный, «наслоившийся» смысл выявил вдруг неразрывную связь животного и бесовского в ницшеанском идеале. Как позже скажет об этом Павел Флоренский, сквозь личину человекобога проглянула звериная морда. Различие между «сверхчеловеком» и «недочеловеками», силой и слабостью, а не между добром и злом Ницше противопоставлял идеям права, цивилизации, прогресса и гуманизма, господствующим в XIX столетии. Но

<sup>42</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 18.

<sup>43</sup> Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 80, 81, 85.

главного, сущностного врага Ницше видел в христианстве с его утверждением высшей ценности каждого человека вне зависимости от сословной или национальной принадлежности, силы или слабости, с его неукоснительным следованием библейским заповедям Божьей правды и милости. Оговоримся: речь идет не об историческом христианстве, нарушавшем эти заповеди с постоянством, достойным лучшего применения, а о христианстве как таковом. Его Ницше определял как восстание рабов в морали, видел в нем подмену ценностей, когда «здоровой» воле к власти и могуществу противопоставляется идеал страдания. «В христианстве, – писал он, – на первый план выходят инстинкты угнетенных и поработанных: в нем ищут спасения низшие сословия»<sup>44</sup>. Ницше считал, что христианство, вера рабов и плебеев в его понимании, как и ветхозаветная религия, в лоне которой оно родилось, несет в себе стремление иудеев – народа-неудачника, почти всегда находившегося под пятой завоевателей, – отомстить сильным, господствующим и процветающим, «рожденным повелевать». С этой целью здоровым языческим народам и была сделана дурная, разрушительная прививка христианства, пробудившая в них болезненное чувство вины, совести и сострадания в ущерб жизненным силам. Основу для их расцвета Ницше видел в язычестве – и в стихийном дионисийстве, и в древнегерманском мифе, которые недаром сближал между собой. В трактате «Рождение трагедии из духа музыки» он писал: «Едва ли представляется возможным с прочным успехом привить чужой миф, не повредив безнадежно дерева этой прививкой; случается, что дерево бывает столь сильно и здорово, что после страшной борьбы вытесняет чуждый ему элемент, но обычно оно замирает и хиреет или истощается в болезненных ростках. Мы настолько высоко ставим чистое и крепкое ядро немецкого существа, что смеем ожидать именно с его стороны этого выделения насильственно привитых чуждых элементов и считаем возможным, что немецкий дух одумается и вспомнит о себе. Кому-нибудь может показаться, что этот дух должен начать борьбу с выделения всего романского; внешнюю подготовку и поощрение к этому он мог бы усмотреть в победоносном мужестве и кровавой славе последней войны; внутреннее же побуждение к тому он должен искать в чувстве соревнования, в стремлении быть всегда достойным своих великих предшественников и соратников на этом пути... Но пусть не приходит ему в голову, будто он может вести подобную борьбу помимо своей мифической родины, помимо “возвращения” всего немецкого! И если бы немец стал робко оглядываться и искать себе вождя, способного снова ввести его в давно утраченную родину, пути и тропы в которую он только еле помнит, – то пусть прислушивается он к радостно манящему зову дионисической птицы, она носится над ним и готова указать ему дорогу туда»<sup>45</sup>.

Позднее один из самых непримиримых противников Ницше в европейской культуре, Г. К. Честертон, говорил о нем, что тот, кто вовремя не размягчит своего сердца, кончит размягчением мозга. Честертон имел в виду ту мучительную болезнь, от которой Ницше умер, – результат сифилиса. Пройдет несколько десятилетий – и нацисты, освобождая немецкий народ от «химеры по имени совесть», привлекут Ницше к себе в союзники, препарировав его идеи для своих целей. Хотя справедливости ради надо сказать, что сам Ницше, человек лично благородный и добрый, от таких «единомышленников» решительно бы отказался. Во всяком случае, юдофобов он глубоко презирал и считал их «недочеловеками». Но, как известно, Иван Карамазов размышляет и говорит, а Смердяков, услышав, идет и убивает. Персонажи, подобные манновскому Дидериху Гесслингу из романа «Верноподданный», коих в Германии было немало, удовлетворялись примитивными и адаптированными специально для их понимания выжимками из Ницше на уровне «трех К» в мужском и женском вариантах или же плетки в руках мужчины, входящего в спальню к женщине. Для обывателей, жаждущих власти над миром, очень кстати пришлось и неприятие евангельской вести, уравнившей в драгоценности

<sup>44</sup> Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 20.

<sup>45</sup> Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 184, 185.



касту господ с обитателями трущоб и углов. Недаром же Гитлер называл апостола Павла агентом международного еврейского заговора и считал, что его проповедь привела к разрушению Римской империи.

Но, помимо этого, влияние Ницше на всю европейскую, в том числе и русскую культуру рубежа XIX–XX столетий, было огромным. Достаточно вспомнить хотя бы пьесу Горького «На дне» – знаменитый монолог Сатина о человеке. То, что Сатин во многом был рупором самого автора, сумел догадаться один из глубочайших знатоков литературы – И. Ф. Анненский. Он же разглядел еще тогда страшную горьковскую религию человекобожества. В своей статье «Драма на дне» Анненский писал: «Слушаю я Горького-Сатина и говорю себе: да, все это и в самом деле великолепно звучит. Идея одного человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?) очень красива. Но отчего же, скажите, сейчас из этих самых волн перегара, из клеток надорванных груди полетит и взвоется куда-то выше, на сверхчеловеческий простор дикая острожная песня? Ох, гляди, Сатин-Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он – все, и что все для него и только для него?»<sup>46</sup> Слова Анненского оказались пророческими.

Пройдет время – и монолог о гордо звучащем человеке обернется другим изречением писателя: «Если враг не сдастся – его уничтожают».

Тот же человекобожеский апофеоз слышится и в стихах Брюсова:

Молодой моряк вселенной,  
 Мира древний дровосек,  
 Неуклонный, неизменный,  
 Будь прославлен, человек!  
 <...>  
 Царь несатый и упрямый  
 Четырех подлунных царств,  
 Не стыдясь, ты роешь ямы,  
 Множишь тысячи коварств,  
 Но, отважный, со стихией  
 После бьешься, с грудью грудь,  
 Чтоб еще над новой выей  
 Петлю рабства захлестнуть.  
 <...>  
 И насельники вселенной,  
 Те, чей путь ты пересек,  
 Повторят привет священный:  
 Будь прославлен, Человек!<sup>47</sup>

Ницшеанские усы стали своеобразным знаком новой эпохи. Они топорщились не только у Горького и Брюсова, но и на рябом лице «гения всех времен и народов».

А поколение символистов, поголовно увлеченное Ницше, вычитало из него совсем не то, что позже – немецкие наци, но отнюдь не что-то доброе и здоровое. Упоение возможностями, лежащими «по ту сторону добра и зла», смешение «божественного» и стихийного в этом новооткрытом ницшеанском «дионисийстве» было основано на сущностной лжи и лицедействе. Человек не способен на самом деле стать языческим богом или зверем. Он может только вообразить себя «стихией», «вжиться в роль», сделавшись при этом просто-напросто плохим чело-

<sup>46</sup> Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 279.

<sup>47</sup> Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 518, 519.

веком. После веков христианской культуры нельзя превратиться в настоящего жреца древнего языческого культа, скифа или викинга-берсерка. Можно только более или менее удачно стилизоваться, не без риска потерять самого себя.

Вячеслав Иванов прочитал Ницше, когда русский символизм был еще в колыбели, а его будущий друг Дмитрий Мережковский готовил свою знаменитую лекцию, давшую старт этому новому направлению в России. От русской литературной жизни Вячеслав Иванов, живший в Германии и занимавшийся римской историей и греческой словесностью, был далек. Он читал Ницше глазами не символиста, а интеллигента 1880—1890-х годов и филолога-классика, взяв у него только то, что ему самому было нужно и близко. Иванов сразу отмел ницшеанский культ силы и имморализм, но воспринял «сверхчеловеческое» как начало, связанное не с тем или иным индивидуумом, а как вселенское, хоровое и религиозно осмысленное. Это было другой крайностью и носило в себе более тонкий яд, который надолго отравил мечту поэта о преобразующем мир всеобщем действе. Будущая «соборная» утопия Вячеслава Иванова парадоксальным образом сочетала в себе два несовместимых, казалось бы, состояния: келейное одиночество и всенародный оргийный экстаз. Именно так, полагал он, должен осуществиться шиллеровский призыв из гимна «К радости» – «Обнимитесь, миллионы!». Вслед за Ницше Вячеслав Иванов сделал ставку на хмельное, «ночное», стихийно-темное в человеке. Этот дионисийский экстаз с его неоформленностью и укорененностью в «древнем хаосе», который с таким ужасом прозревал Тютчев, пришелся очень впору русской душе. Нередко он давал о себе знать и в истории. В книге «Миросозерцание Достоевского» Бердяев вспоминал слова одного поляка, ставшего свидетелем революции: «Дионизос прошел по русской земле». Еще с античных времен дионисийство, отмыкавшее все темные бездны и источники человеческой природы, виделось противоположностью культу Аполлона – бога гармонии и красоты. Как писал Ницше: «С <...> двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов – аполлоническим – и непластическим искусством музыки – искусством Диониса; эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом раздоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко все новым и более мощным порождениям, дабы в них увековечить борьбу названных противоположностей...»<sup>48</sup>

Противостояние двух этих начал знакомо нам и по стихотворению Пушкина «В начале жизни школу помню я...», где речь идет о статуях царскосельского сада. Поэту оно было ведомо еще с юных лет отнюдь не понаслышке, а по непростой борьбе со словесной стихией и по столкновению гармонии и хаоса в собственном внутреннем мире:

Другие два чудесные творенья  
Влекли меня волшебною красой:  
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик младой —  
Был гневен, полон гордости ужасной,  
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,  
Сомнительный и лживый идеал —  
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.

<sup>48</sup> Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб., 2005. С. 43.

Пред ними сам себя я забывал;  
В груди младое сердце билось – холод  
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений ранний голод  
Меня терзал – уныние и лень  
Меня сковали – тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день  
Бродил угрюмый – все кумиры сада  
На душу мне свою бросали тень<sup>49</sup>.

Искушение этими «кумирами», особенно вторым, Дионисом, Вячеслав Иванов благодаря Ницше испытал в полной мере. Идеал был «сомнительным и лживым», но источник, бьющий в глубинах человеческой души, пусть даже и безмерно замутненный, – настоящим. Он таил огромные, подлинные жизненные силы, отвергнуть которые означало бы для человека самооскопление. Их надо было преобразить, очистить в пламени духа, в творчестве.

Соприкосновение с Ницше и через него – с дионисийством, ставшее для Вячеслава Иванова потрясением, излечило его от духовной робости и скованности. Поэт перестал прятаться от своего главного призвания за академические занятия, которые – не будем умалять их огромного значения – тоже дали ему бесконечно много.

Но еще более мощным, поистине грозovým потрясением, полностью изменившим всю жизнь, стала другая встреча.

Учась в семинарии Моммзена уже пять лет, Вячеслав Иванов очень много работал в библиотеках Берлина, Парижа и Лондона, но все не решался поехать в Рим. Он словно считал себя недостойным увидеть Вечный город, которому предстояло сыграть главную роль в его судьбе и поэзии. Рим для него всегда был сердцем Европы и мира. Вячеслав чувствовал, что еще не готов услышать и различить за шумом повседневности его главную всечеловеческую весть, разглядеть связь времен и непрерывную актуальность за застывшей, казалось бы, древностью и артефактами. С великими городами у поэта отношения складывались непросто, но с Римом – в особенности. Позднее один из постоянных гостей ивановской «башни» в Петербурге, Осип Мандельштам, скажет об этом с абсолютной точностью:

Пусть имена цветущих городов  
Ласкают слух значительностью бренной.  
Не город Рим живет среди веков,  
А место человека во Вселенной.

Им овладеть пытаются цари,  
Священники оправдывают войны,  
И без него презрения достойны,  
Как жалкий сор, дома и алтари<sup>50</sup>.

Все же недаром гласит древняя латинская поговорка: «Все дороги ведут в Рим». Сколько бы его ни кляли, ни объявляли отлученным от благодати, падшим, или же, наоборот, захолустным городом, утратившим свое прежнее всемирное значение, сколько бы ни появлялось

---

<sup>49</sup> Пушкин А. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1981. Т. 2. С. 193.

<sup>50</sup> Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 76.

на путях истории «вторых» и «третьих» Римов, первый продолжал стоять. По множеству того страшного и постыдного, что в нем совершалось, само его существование порой казалось невыносимым, но главная тайна Вечного города превосходит любое человеческое разумение. Ключ к ней – в словах Спасителя, сказанных апостолу Петру: «И я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф., 16, 18).

Старая поговорка всегда оставалась неизменной. В Рим вели не только Аппиева, и другие дороги, сходящиеся у камня на Форуме, но и иные пути – исторические, философские, научные, культурные, духовные. Лежал туда и путь молодого ученого Вячеслава Иванова.

Как ни откладывал он свою неизбежную встречу с Римом, все же ей суждено было состояться. В Рим Вячеслав впервые приехал в 1892 году – по заданию профессора Моммзена. Ему предстояло доделывать там свою латинскую диссертацию. Жить и работать в Риме Вячеслав собирался долго, поэтому взял с собой жену и дочку. Сняв жилище, он тут же включился в деятельность германского Археологического института, питомцев которого римляне называли *ragazzi Capitolini* (капитолийские юноши). Вместе с ними он участвует в обходах древностей, изучает римскую археологию, латинские надписи. О своей тогдашней жизни в Риме Вячеслав Иванов рассказывал потом в «Автобиографическом письме»: «Думал только о филологии и археологии и медленно перерабатывал заново, углублял и расширял свою диссертацию, но подолгу обессиливал вследствие изнурявшей меня малярии. Жизнь в Риме принесла с собою немало новых знакомств с учеными (вспоминаю, какими они были в ту пору, профессоров Айналова, Крашениникова, М. Н. Сперанского, М. И. Ростовцева, покойных Кирпичникова, Модестова, Редина, Крумбаха, славного Дж. Б. де-Росси) и с художниками (братья Сведомские, Руццони, Нестеров, подвижник катакомб – Рейман)»<sup>51</sup>. Вячеслава Иванова окружали русские, немцы, итальянцы – люди, живущие для науки и искусства. Так прошел год. Дионисийство, воспринятое через Ницше, было до поры только теорией, усвоенной умом. И вдруг словно бурей взметнулось оно в душе Вячеслава. Летом 1893 года он встретил в Риме Лидию Зиновьеву-Аннибал.

Ее отец, Дмитрий Зиновьев, вел свой род от сербских князей Зиновичей и принадлежал к высшей петербургской знати. Дядя был одним из воспитателей Александра III. Мать Лидии, урожденная баронесса Веймарн, шведка по отцу, по материнской линии происходила от Абрама Ганнибала – «арапа Петра Великого».

Лидия росла ребенком своенравным, буйным, подчас диким. Сказывались две знойные южные крови, текущие в ее жилах, – африканская, доставшаяся в наследство от черного пращура, и сербская. Из нее пытались сделать благонаправленную барышню, приглашали к ней лучших учительниц и гувернанток, но все тщетно. Светское воспитание и благопристойное поведение были противны самой ее природе, основу которой составляла неистовая, не знающая берегов жажда жизни. Читать и учиться, в отличие от Вячеслава, она ненавидела.

В детстве Лидия пережила тяжелое душевное потрясение, после чего утратила веру в Бога. Тогда она стала совсем несносной. Родители для исправления отправили дочку в Германию и определили ее в закрытую лютеранскую школу диаконис. В школе этой царила мрачная и суровая атмосфера. На всем лежала печать смертельной скуки. Пасторы и учительницы будто намеренно стремились отбить у девочек любовь к Богу, превращая Священное Писание в должностную инструкцию и представляя Небесного Отца эдаким строгим воспитателем, неукоснительно наказывающим за малейшее непослушание. Могла ли Лидия не взбунтоваться! Она изводила своей дерзостью школьное начальство и восхищала аккуратных и дисциплинированных подружек, неспособных на такой отчаянный протест. Однажды директриса, выведенная из себя очередной ее выходкой, воскликнула: «Какой злой дух вселился в тебя?» «Русский!» – крикнула в ответ Лидия. С тех пор в школе ее прозвали «русским чер-

<sup>51</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 19.

том». В характере девочки отчетливо проявились гибельные черты, в том числе и склонность к самоубийству. Но не менее острым в ней было чувство справедливости и неприятия ханжества и несвободы. Другое дело, что выражалось оно стихийно и слепо.

Наконец чинная и чопорная обитель правильного воспитания извергла «русского черта» – Лидию исключили из лютеранской школы.

Когда она со вздохом облегчения вернулась домой, родители пригласили к ней, в то время уже семнадцатилетней барышне, в домашние учителя молодого историка, оставленного при университете для получения профессорского звания, Константина Семеновича Шварсалона. Он увлекательно рассказывал Лидии на уроках об Александре Македонском и героях Древнего Рима, с жаром говорил своей юной ученице о «лучших людях», жертвовавших всем народу, и о каком-то «великом общем деле», которое уже началось. Вскоре Лидия узнала от него, что он социалист, хотя при этом молодой ученый не упускал случая упомянуть о своих имениных французских предках. Лидия всем сердцем внимала ему, стремясь к самопожертвованию, подвигу во имя высшей правды. Ей не терпелось участвовать в деле освобождения народа от деспотизма. И в конце концов произошло то, что часто бывает, когда молодой человек выступает в роли наставника, а девушка – в роли ученицы. Повторилась история Сен-Прё и Юлии (герои романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза»). Лидия влюбилась в учителя и решила связать с ним свою жизнь, чтобы вместе с любимым человеком бороться за священные идеалы свободы и справедливости. О своем решении она объявила отцу и матери. Те, видя решимость дочери и зная ее характер, после недолгих препирательств согласились на ее брак с Константином Шварсалонам – все же человек если и не из знатной, то хотя бы из приличной семьи, к тому же будущий университетский профессор.

Сразу после свадьбы Лидия примкнула к социал-революционерам и устроила у себя конспиративную квартиру, чем повергла в ужас и родителей, и, что казалось ей уж совсем удивительным, мужа. В чем же крылась разгадка такой странной перемены в его настроении? Да в том, что на самом деле Константин Семенович Шварсалон вовсе не торопился «в стан погибающих за великое дело любви». Все разговоры о жертвенности, героизме и социализме были для него только способом обольстить знатную и богатую наследницу, жениться на ней и зажить припеваючи. «Борец за всенародное счастье» на поверку оказался очень мелким и своекорыстным пошляком. Пока жена «делала революцию», муж, получив богатое приданое, изменял ей направо и налево. Ничего не подозревавшая Лидия родила ему двух сыновей и дочь, но, узнав об изменах супруга, пришла в негодование, забрала детей и уехала вместе с ними за границу.

Когда семейство жило во Флоренции, Лидия встретила там со своим старым петербургским знакомым – историком-медиевистом Иваном Михайловичем Гревсом, будущим учителем одного из величайших русских мыслителей XX века Г. П. Федотова. Во Флоренции Гревс был проездом в Рим, куда ехал специально для научных бесед с Вячеславом Ивановым, имевшим уже репутацию серьезного и подающего большие надежды ученого. Когда-то именно Гревс, который познакомился с Вячеславом в Парижской Национальной библиотеке, помог ему побороть страх перед Римом и убедил в необходимости увидеть Вечный город воочию. Теперь же Иван Михайлович предложил Лидии составить ему компанию в путешествии и обещал познакомить с «замечательным человеком», непревзойденным знатоком Рима.

Первая встреча Вячеслава и Лидии произошла в жаркий июльский полдень, когда Рим был похож на раскаленную печь. Римляне называют это время года «рычанием звездного Льва» – по созвездию, царящему в небе. Лишь только они приблизились друг к другу, в обоих точно молния ударила.

Потом были их совместные с Гревсом прогулки по Риму – с увлекательнейшими, головокружительными рассказами Вячеслава, который знал Вечный город и его историю лучше, чем свой собственный дом. Римская древность словно оживала у них на глазах. Гревс очень радовался тому, что эти беседы развлекли Лидию, видел, что она пришла в себя, отвлеклась

от мрачных мыслей и повеселела. Он и предположить не мог, чем обернется их знакомство с Вячеславом...

После Рима Лидия с детьми вернулась в Петербург, но скоро почувствовала, что жить прежней жизнью ей уже совсем не хочется. В глубине ее души незаметно для нее самой произошёл поворот к новому. Увлечение революцией, конспирацией и нелегальной литературой, к большому огорчению «товарищей по борьбе», закончилось. Не последнюю роль здесь сыграли беседы с Вячеславом Ивановым. Когда-то в юности сам переживший и изживший революционные настроения, он сумел убедить Лидию в том, что этот путь бесплоден. Попытка насильственного изменения жизни общества без внутреннего преображения человека всегда кончается тупиком. Она чревата лишь бесчисленными напрасными жертвами и куда более страшной несвободой, чем прежде. Гораздо важнее раскрыть в себе свои собственные таланты и приумножить их. Этим и всему «угнетенному человечеству» можно помочь намного больше, нежели призывами «брать права» и подпольными типографиями. Вячеслав посоветовал Лидии заняться музыкой и пением. Через год, продав свой дом в Петербурге, она вместе с детьми переехала во Флоренцию, чтобы учиться искусству вокала. Но этому предшествовало ее исповедальное письмо Вячеславу, на которое тот, боясь своих собственных чувств, ответил учтиво и уклончиво. Тем не менее, получив телеграмму Лидии о приезде, он встретил ее. К тому времени Вячеслав поселился во Флоренции вместе с Дарьей Михайловной и Сашенькой, наезжая в Рим только для научных занятий.

На флорентийском вокзале, как всегда, было шумно. Спешили люди, наперебой кричали носильщики и извозчики, предлагая свои услуги. Встретив Лидию с ее тремя детьми и тремя девушками-питомицами, Вячеслав взял на руки спящую четырехлетнюю Веру и отправился нанимать «веттурино». Лидия шла рядом с ним.

Наняв жилище и освоившись на новом месте, она стала часто бывать в гостях у Ивановых. Дарья Михайловна всегда принимала ее очень приветливо. Добрая и сострадательная, она, видимо, по-женски сочувствовала Лидии, зная ее прежнюю нелегкую жизнь. Помимо этого обеих сблизил любовь к музыке. Сама не подозревая того, Дарья Михайловна невольно способствовала разгоравшейся день ото дня тайной, с трудом сдерживаемой страсти мужа. А когда пламя вырвалось наружу, гасить его было уже поздно. Вячеслав Иванов мучился, изо всех сил пытаясь преодолеть это преступное чувство. Он намеренно избегал встреч с Лидией, боясь потерять из-за безумного влечения к ней семью, разлучиться навсегда с женой и дочкой, которых бесконечно любил. Вячеслав надолго уезжал из Флоренции в Рим, много времени проводил там на археологических раскопках, всего себя отдавал научным изысканиям, вел полную трудов одинокую жизнь, но – не выдержал. Вернее, не выдержали оба. В марте 1895 года в Риме и произошла та роковая встреча Вячеслава и Лидии, которая окончательно обозначила собой перелом в их судьбе, теперь уже единой. Как когда-то Мартовские иды открыли новую эпоху в истории Вечного города, так и этот март стал началом их новой жизни. Но для Вячеслава – страшным и горьким. Совесть и сознание совершенного им смертного греха терзали его, ни на миг не давая покоя. И вместе с тем он уже не мыслил себя без Лидии. Вячеслава словно разрывало надвое. Прекрасная римская весна с ее первой зеленью, с пробуждением к жизни всей природы была для него отравленной.

Однажды, проходя мимо старого кладбища Кампо Верано, по-прежнему объятый сердечной смутой, не находя разрешения своей боли, Вячеслав вдруг ощутил горячее дыхание весенней земли, пьянящий запах трав и цветов. Ему открылось вечное соседство жизни, смерти и любви, неразрывность горечи и радости. Словно неведомый прежде глубинный ключ пробился в его измученной душе, неся облегчение. Он упал на землю и зарыдал. А в памяти будто отзывались дорогие с давних пор строки: «Богородица – великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость

нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься»<sup>52</sup>.

С этой минуты в сердце Вячеслава произошел решительный перелом. Он ясно осознал, что вернуться к прежней жизни уже невозможно. Да и жена, хотя и молчала, все давно почувствовала и поняла. Дарья Михайловна видела, что Лидия навсегда вошла в жизнь Вячеслава, и как бы он ни пытался победить свою страсть, это было выше его сил. Поэтому, когда летом того же 1895 года – ровно два года спустя после первой встречи с Лидией – муж открыто во всем покался, сказал, что хочет сохранить семью, но ему понадобится время, чтобы одолеть «это демоническое наваждение», и просил не разезжаться с ним, Дарья Михайловна, выслушав Вячеслава, решительно потребовала развода. В тогдашней интеллигентской среде, к которой они оба принадлежали, считалось, что если любовь исчерпала себя, то незачем сохранять и брак. «Умри, но не дай поцелуя без любви!» Эти слова из романа «Что делать?», бывшего настольной книгой «передовых людей» того времени, сделались руководством к действию. Достаточно вспомнить, как повели себя в похожей ситуации герои Чернышевского. А в жизни им стремились подражать очень многие...

Дарья Михайловна приняла решение вернуться вместе с Сашенькой в Москву. Вячеслав сопровождал их туда. В Москве он оформил бумаги, необходимые для бракоразводного процесса, и навестил Александру Дмитриевну. Мать была тяжело больна, и он не стал рассказывать ей о распаде своей семьи. Но мудрая женщина обо всем догадывалась и, хотя не подавала виду, глубоко переживала то, что происходило с сыном. Александра Дмитриевна всегда чутко ощущала его внутреннее неблагополучие. Спасала от отчаяния, как встарь, крепкая и ясная вера. Чудо с предсмертным обращением мужа научило ее во всем полагаться на Бога, способного вытащить человека из любой пропасти. Кому могут быть ведомы Его замыслы и пути, какими Он ведет таких разных людей!

Мать Дарьи Михайловны, узнав о произошедшем, забрала дочь и внучку и переехала в Харьков. Вячеславу она сказала, что не может допустить даже случайной его встречи с Дашей или Сашенькой, поскольку он непременно должен будет наезжать в Москву, чтобы навещать свою мать. Впоследствии, когда Дарья Михайловна с домашними жила в Харькове, о ее разводе с Вячеславом узнал прежний поклонник – молодой филолог, ставший затем профессором Дерптского университета. Он тут же приехал к ней с предложением руки и сердца, но получил отказ. Дарья не захотела предать своей первой любви. С бывшим мужем она сохранила добрые отношения. Но память об этом расставании всегда отзывалась для Вячеслава горьким упреком его совести.

Вячеслав вернулся из Москвы в Рим и вновь встретился там с Лидией. Теперь, после всех пережитых страданий, с ним произошла разительная перемена. Потрясение полностью обновило его. А рядом была та, что силой своей любви, солнечным, щедрым жаром вселяла в него жизнь. Потом он вспоминал: «Встреча с нею была подобно могучей весенней дионисийской грозе, после которой все во мне обновилось, расцвело и зазеленело»<sup>53</sup>.

Когда приятель Вячеслава и Лидии, Иван Михайлович Гревс, невольный виновник их встречи, строжайший пуританин, тем не менее не осудивший своих друзей, узнал обо всем произошедшем, то, горестно покачивая головой, сказал: «Вот до чего доводит Ницше, вот до чего доводит Дионис».

Но эта дионисийская буря имела для внутренней жизни Вячеслава Иванова парадоксальное значение. Любовь к Лидии охватила все его существо. Пройдя через трагедию, он обрел катарсис, очищение.

<sup>52</sup> Достоевский Ф. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1982. Т. 8. С. 142.

<sup>53</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 20.

Ведь «любовное исступление», «выход из самого себя», ломающие барьеры обыденности, помогают вырваться и из плена эгоцентризма. И тогда любимый человек ощущается уже не как «он» или «она», а как другое «Я», безмерно более драгоценное тебе, чем твое собственное. Бытие и счастье того, кого любишь, наполняются вселенским смыслом. В опыте любви земной, лично направленной, любви-самоотречения происходит соприкосновение и с любовью Божественной, всегда крестной. Человек научается через этот опыт любить и чувствовать Бога.

Много лет спустя в своей книге о Достоевском Вячеслав Иванов напишет: «Его проникновение в чужое я, его переживание чужого я, как самобытного, беспредельного и подвластного мира, содержала в себе постулат Бога как реальности реальнейшей всех этих абсолютно реальных сущностей, из коих каждой Он говорил всю волю и всем разумением: “Мы еси”»<sup>54</sup>. Эти слова в полной мере относятся и к духовному опыту самого Вячеслава Иванова. Если Достоевский пережил соприкосновение с высшей реальностью перед лицом смерти, на эшафоте, то Вячеслав Иванов – через огромную, грозную любовь, вместившую и боль, и радость. Но и смерть, и любовь в равной степени связаны с прорывом из повседневности в иное измерение и к иным глубинам. Позже, подводя итог тому, что довелось ему в те годы пережить, Вячеслав Иванов писал: «Властителем моих дум все полнее и могущественнее становился Ницше. Это ницшеанство помогло мне – жестоко и ответственно, но по совести правильно – решить предстоящий мне в 1895 году выбор между глубокою и нежною привязанностью, в которую обратилось мое влюбленное чувство к жене, и новою, всецело захватившею меня любовью, которой суждено было с тех пор, в течение всей моей жизни, только расти и духовно углубляться, но которая в те первые дни казалась как мне самому, так и той, которую я полюбил, лишь преступною, темною, демоническою страстью... Друг через друга нашли мы – каждый себя и более, чем только себя: я бы сказал, мы обрели Бога»<sup>55</sup>.

Итак, как бы парадоксально это ни прозвучало, но именно Ницше со своим «дионисийством» подтолкнул Вячеслава Иванова на путь к Христу. Божий свет может неожиданно сверкнуть в самой глубокой тьме. К вере порой идут очень хитрыми и непростыми дорогами.

Впрочем, окончательно разобраться с Ницше Вячеславу Иванову еще предстояло в будущем.

Теперь же с ним происходило то чудесное, чего совсем недавно он и ожидать не мог. Вулканическая сила любви пробудила к новой жизни его главное призвание. После долгого молчания в Вячеславе вновь очнулся поэт. Неизбывными оказались давнее новогоднее предсказание матери и провидческая догадка гимназического друга.

То чувство, которым жили и Вячеслав, и Лидия, сплавившее их в одно неразрывное целое, отозвалось в сонете «Любовь» – одном из лучших образцов русской любовной поэзии:

Мы – два грозой зажженные стволы,  
Два пламени полуночного бора;  
Мы – два в ночи летящих метеора,  
Одной судьбы двужалая стрела!  
Мы – два коня, чьи держит удила  
Одна рука, – одна язвит их шпора;  
Два ока мы единственного взора,  
Мечты одной два трепетных крыла.  
Мы – двух теней скорбящая чета  
Над мрамором божественного гроба,

<sup>54</sup> Иванов Вяч. Эссе, статьи, переводы. Брюссель, 1985. С. 22.

<sup>55</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 19, 20.



Где древняя почитает Красота.  
Единых тайн двугласные уста,  
Себе самим мы – Сфинкс единый оба.  
Мы – две руки единого креста<sup>56</sup>.

В конце лета того же 1895 года Вячеслав Иванов представил Берлинскому университету свою кандидатскую диссертацию о государственных откупах в Риме. И Моммзен, и другие профессора оценили ее очень высоко. Они уговаривали Вячеслава Иванова остаться в Германии и сулили ему блестящую профессорскую карьеру. Но Вячеслав отказался от этого заманчивого предложения. Древнеримская история уже не так его привлекала. Кроме того, было и внешнее препятствие, не дававшее ему возможности спокойно работать ни при Берлинском, ни при Московском университете, – он не мог обвенчаться с Лидией Дмитриевной. Ее супруг отказывал ей в разводе по соображениям исключительно материальным, не желая делить имущество, хотя фактически брак их уже давно распался. Из-за этого Вячеслав и Лидия должны были скрываться и менять места жительства в Европе, а Лидия – еще и прятать своих детей, которых грозился отобрать с помощью суда Константин Шварсалон. Несколько лет они скитались по разным городам и селениям Италии, Франции, Англии и Швейцарии. Даже в Россию, чтобы навестить родных, они приезжали порознь и без детей.

Но не только с этими обстоятельствами был связан его отказ от университетской карьеры. Он окончательно решил заниматься не римской историей, а древнегреческой филологией. Но еще важнее было то, что во все дни своей жизни в глубине души Вячеслав Иванов осознавал себя прежде всего поэтом. Даже когда он надолго умолкал, это ощущение не покидало его. Теперь же любовь зажгла в нем вдохновение и огонь, столько лет теплившийся в душе и вдруг вспыхнувший до небес.

За пробуждением поэзии последовали и начало литературного пути, и та встреча, которая изменила жизнь Вячеслава Иванова безмерно глубже, чем знакомство с книгами Ницше и «дионисийство».

---

<sup>56</sup> *Иванов Вяч.* Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1971. Т. 1. С. 610, 611.

## Глава III

### Два собеседника. 1896–1904 годы

1896 год обозначился для Вячеслава Иванова двумя событиями. Первое было скорбным. В апреле, живя с Лидией в Париже, он получил известие о смерти матери. Вячеславу было горестно, что он не успел проститься с Александрой Дмитриевной. Но материнская любовь осталась его незримой и неизменной спутницей на всю жизнь.

В парижском православном храме Вячеслав заказал литургию и панихиду о матери. К тому времени он уже давно вернулся к вере в Бога, но от Церкви по-прежнему оставался далек. Во время службы, слушая родной с детских лет, прекрасный и возвышенный язык богослужения, он вдруг почувствовал таинственное, живое присутствие матери в храме. Пространство и смерть не были здесь помехой для их единения. Этот опыт остался в сердце Вячеслава навсегда и в будущем не раз помогал ему в скорбные дни его жизни.

И в том же самом апреле вслед за горем пришла радость. 28 апреля у Вячеслава и Лидии родилась дочь. Ее назвали в честь матери – Лидией. Впоследствии она станет пианисткой и композитором, ученицей Александра Гольденвейзера, а затем Отторино Респики и автором книги воспоминаний об отце.

Как когда-то мать, теперь Лидия Дмитриевна укрепляла в Вячеславе самоощущение поэта. Ранние стихи мужа ей не нравились. Она провидела другие, еще ненаписанные...

А в России тем временем явственно обозначалась новая эпоха в ее словесности. Еще в 1892 году молодой поэт Дмитрий Мережковский прочел в Петербурге лекцию «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». На следующий год она вышла отдельным изданием. Полемизируя в ней с «публицистическими народническими» схемами в оценке литературы, Мережковский провозглашал намерение продолжить великие традиции «золотого века», вернуть читателю поэзию. И в самом деле, в 1880–1890-е годы гораздо больше читали даже не прозу, а публицистику. Многие считали это время провалом в русской поэзии. Но тогда же писали Майков, Фет и Полонский, постоянными гостями на «пятницах» которого были сам Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус. Провал произошел, но не в поэзии, а у читателя.

Трагедию Новейшего времени Мережковский осмыслял, сопоставляя его с двумя другими эпохами – Средневековьем и Просвещением: «В эпоху наивной теологии и догматической метафизики область *Непознаваемого* постоянно смешивалась с областью *непознанного*... Мистическое чувство вторгалось в пределы точных опытных исследований и разрушало их...

Новейшая теория познания воздвигла несокрушимую плотину, которая навеки отделила твердую землю, доступную людям, от безграничного и темного океана, лежащего за пределами нашего сознания. И волны этого океана уже более не могут вторгаться в обитаемую землю, в область точной науки...

Теперь последний догматический покров навеки сорван, последний мистический луч потухает. И вот современные люди стоят беззащитные, – лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны... Всем существом мы чувствуем близость тайны, близость океана. Никаких преград! Мы свободны и одиноки! – С этим ужасом не может сравниться никакой поработанный мистицизм прошлых веков. Никогда еще люди не чувствовали сердцем необходимость верить и так не понимали разумом невозможность верить»<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала XX века. М., 1988. С. 46, 47.

За этими словами Мережковского стоял опыт величайшего провидца XIX столетия, одного из предтеч поэзии Нового времени – Ф. И. Тютчева. Вернее, два его стихотворения. Первое из них – «На мир таинственный духов»:

И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ней и нами...  
Вот отчего нам ночь страшна!<sup>58</sup>

Второе стихотворение – «Наш век»:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,  
И человек отчаянно тоскует...  
Он к свету рвется из ночной тени  
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,  
Невыносимое он днесь выносит...  
И сознает свою погибель он,  
И жаждет веры – но о ней не просит...<sup>59</sup>

Для того чтобы глубже понять и воссоздать такое состояние человеческого духа, новое искусство, полагал Мережковский, непременно должно быть символическим. Но символ в поэзии рубежа XIX–XX столетий действует иначе, нежели в древнеегипетском или в античном искусстве. Об этом он писал так: «Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности. Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь идею, они превращаются в мертвые аллегории...»

У Ибсена и Флобера, рядом с течением выраженных словами мыслей, вы невольно чувствуете другое, более глубокое течение...

В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя»<sup>60</sup>.

Помимо этого, Мережковский считал символами вечные архетипы мировой культуры – Дон Кихота, Гамлета, Фауста. Три же главными элементами нового искусства он называл мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности.

Статья Мережковского стала первым манифестом русского символизма. Направление это было общеевропейским и в России возникло прежде всего благодаря прививке новой французской поэзии. Впрочем, гораздо большее значение, чем «прививка», имел для рождения русского символизма «ствол» – та богатейшая традиция романтической поэзии, что началась еще Жуковским с его устремленностью к «невыразимому» и продолжилась Пушкиным, Баратынским, Тютчевым, поздним Фетом, отчасти А. К. Толстым, Майковым и Полонским. Символизм органически вырастал из этого магистрального направления русской поэзии XIX столетия. Больше того, некоторых «забытых» поэтов, прежде всего Баратынского и Тютчева, он прочел заново и открыл для читателя. Но главным, что символисты унаследовали от русской

---

<sup>58</sup> Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 155.

<sup>59</sup> Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 205.

<sup>60</sup> Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала XX века. М., 1988. С. 50.

философской лирики «золотого века», было стремление выразить на языке поэзии реалии и тайны мира духовного, отношение к земным понятиям и вещам как к знакам для разговора о невидимом. По сравнению с предтечами у них лишь безмерно усложнилось восприятие слова – оно сделалось многозначнее, богаче своими смысловыми оттенками. Увеличились звуковые и ассоциативно-образные возможности стиха. Это новое чувство слова имело у символистов свои глубокие жизненные и мировоззренческие основания. Оно родилось из многократно усложнившегося самоощущения человеческого «я».

Русская поэзия XIX века знала великие прозрения о человеке, будь то трагедия отношений личности и Промысла у Баратынского или же эволюция понимания «я» у Тютчева – от растворения в безликой бездне в духе натурфилософии до утверждения его неповторимости и сущностной бесценности через опыт страдания. Но с наибольшей глубиной человеческий дух во всей своей осклоченности и конвульсивной жажде высшей правды и красоты раскрывался тогда, как это ни странно, не в поэзии, а в прозе – у Достоевского. Он ближе всех подошел к тому видению личности, которое возобладаало в Серебряном веке. Если прежде человеческое «я» воспринималось трагически, но как нечто целостное, то Новое время увидело его уже иначе. И. Ф. Анненский так писал об этом в «Книге отражений»: «Мелькает я, которое хотело бы стать целым миром, раствориться, разлиться в нем, я – замученное сознанием своего безысходного одиночества, неизбежного конца и бесцельного существования; я в кошмаре возвратов, под грузом наследственности, я – среди природы, где, немо и незримо упрекая его, живут такие же я, я среди природы, мистически ему близкой и кем-то больно и бесцельно сплетенной с его существованием. Для передачи этого я нужен более беглый язык намеков, недосказов, символов; тут нельзя ни понять всего, о чем догадываешься, ни объяснить всего, что прозреваешь или что болезненно в себе ощущаешь, но для чего в языке не найдешь и слово. Здесь нужна музыкальная потенция слова, нужна музыка уже не в качестве метронома, а для возбуждения в читателе творческого настроения, которое должно помочь ему опытом личных воспоминаний, интенсивность проснувшейся тоски, неожиданностью упреков восполнить недосказанность пьесы и дать ей хотя и более узко-интимное и субъективное, но и более действенное значение. Музыка символов поднимает чуткость читателя: она делает его как бы вторым, отраженным поэтом»<sup>61</sup>.

Тот же мотив, связанный с тайным внутренним надрывом и раздробленностью человеческого я, слышался и в поэзии Анненского – в стихотворении «Его»:

Я – слабый сын больного поколения  
И не пойду искать альпийских роз,  
Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз  
Мне не дадут отрадного волненья.

Но милы мне на розовом стекле  
Алмазные и плачущие горы,  
Букеты роз увядших на столе  
И пламени вечернего узоры<sup>62</sup>.

С Анненским словно перекликался Федор Сологуб:

Я также сын больного века,  
Душою слаб и телом хил,

<sup>61</sup> Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 306.

<sup>62</sup> Анненский И. Избранное. М., 1987. С. 150.

Но странно – веру в человека  
Я простодушно сохранил<sup>63</sup>.

Но что-то очень похожее звучало в русской поэзии еще задолго до вхождения в нее символистов – в 1855 году, когда старший из поэтов Серебряного века, Иннокентий Анненский, только появился на свет.

Бедняк! и из чего пограл  
Ты долг священный человека?  
Какую подать с жизни взял  
Ты – сын больной большого века?..

Когда бы знали жизнь мою,  
Мою любовь, мои волненья...  
Угрюм и полон озлобленья,  
У двери гроба я стою<sup>64</sup>.

Узнаете? «Поэт и гражданин» Некрасова. С «демократической» традицией (хотя поэзия Некрасова намного глубже любых схем ее социального толкования – он прежде всего огромный художник) символизм был генетически связан в не меньшей степени, чем с «чистой лирикой». Поэты Серебряного века были «детьми народников» и в прямом, и в переносном смысле. Все они, почти без исключения, признавались в любви к Некрасову. Даже Вячеслав Иванов, у которого, в отличие от Сологуба, Блока, Волошина или Гумилева, Некрасов не входил в число любимых поэтов, не обошел его стороной. В 1919 году, отвечая на вопросы знаменитой анкеты К. И. Чуковского о Некрасове, Вяч. Иванов писал: «“Власа” люблю и ценю особенно и с детства, – следовательно, не за Достоевским, – “Ой, полна, полна коробушка...” – удивительная песня! ...Какой-то довольно ранний сборник его стихов попал мне в руки, когда я был лет 10–11. Я испытал живое ощущение ненастного унылого дня, когда моросит дождь; защемило сердце... Некрасов был по-своему “проклятым” поэтом, поэтом во всяком случае, но таким, у которого отнята благодать»<sup>65</sup>.

Вяч. Иванов не случайно так называл Некрасова. Он сравнивал его с французскими «проклятыми» поэтами – Бодлером, Верленом, Рембо – родоначальниками символизма. И в самом деле, их сближала городская тема. Картины некрасовского Петербурга отзывались парижскими пейзажами Бодлера.

А вскоре новое направление русской литературы вслед за петербургским манифестом Мережковского заявило о себе и в Москве. В 1894–1895 годах один за другим вышли три сборника под названием «Русские символисты», подготовленные к печати молодым поэтом Валерием Брюсовым. Составляли их по большей части стихи самого Брюсова (некоторые из них он публиковал под различными псевдонимами) и нескольких стихотворцев из его окружения. Критика встретила эти новые сборники в штыки. Большинство отзывов были ругательными. У московской публики первые опыты символистов также одобрения не вызвали. Впрочем, и десять лет спустя отношение к ним не изменилось. В очерке «Пленный дух», посвященном памяти Андрея Белого, Цветаева вспоминала, как судила о новом уже поколении символистов ее тетка: «– Последние времена пришли! – кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. – Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало

---

<sup>63</sup> Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1934. С. 82.

<sup>64</sup> Н. Некрасов. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 82.

<sup>65</sup> Некрасов вчера и сегодня: Путеводитель по выставке в ЦГПБ им. Н. А. Некрасова. М., 1988. С. 36, 37.

им Горького – Максима, Белый – Андрей понадобился! А то еще какой-то Александр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил “Прекрасную Даму”, уж одно название чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про дам писали, только не печатали, а в стол прятали, – разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николая Дмитриевича Бугаева сын...

– Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! – кротко отвечал мой отец. – А о чем лекции?

– О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм какой-то выдумали, что символа веры не знают!..

И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими исключениями, старое поколение Москвы»<sup>66</sup>.

Но отнюдь не только московские тетушки не приняли нового направления русской поэзии, которому предстояло на долгое время стать в ней ведущим. Одним из тех, кто с едким и убийственным сарказмом высказывался о брюсовских сборниках, был великий мыслитель и поэт Владимир Соловьев. Причудливая, нарочитая метафорика ранних символистов (у больших поэтов она была данью неопитству, у эпигонов же эта болезнь приобрела хронический характер) вызвала у Соловьева раздражение и насмешку. На выход сборников «Русские символисты» он откликнулся статьей, которая называлась «Еще о символистах». Но намного более острыми и ироничными, чем сама статья, стали две стихотворные пародии, вошедшие в нее. Об обстоятельствах их создания позже вспоминал в своих мемуарах друживший с В. С. Соловьевым А. Ф. Кони: «В половине девяностых годов он (В. С. Соловьев. – Г. З.) стал говорить об увлечениях некоторых из тогдашних поэтов-символистов... Его сердила и вместе смешила составлявшая будто бы сущность символизма погоня за вычурностью языка и за сочинением новых темных словечек и немыслимых сочетаний.

“Право, – сказал он, – не так трудно сочинять – именно сочинять – такие стихи. <...> Я, чтобы развлечься от усиленного труда, представил себя символистом и придумал следующие стихи”»<sup>67</sup>.

Прежде чем прочитать Кони свои пародии, Соловьев процитировал брюсовский перевод из Метерлинка:

И под кнутом вспоминанья  
Я вижу призраки охот,  
Полузабытый след ведет  
Собак секретного желанья<sup>68</sup>.

На примере этого четверостишия можно было увидеть один из главных принципов поэтики раннего символизма – сопряжение максимально далеких друг от друга лексико-семантических рядов и планов бытия. Его-то Соловьев, доведя до абсурда, и использовал в своих пародиях. Первая из них была основана на сочетании несочетаемого:

Горизонты вертикальные  
В шоколадных небесах,  
Как мечты полужеркальные  
В лавровишневых лесах.

---

<sup>66</sup> Цветаева М. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994. Т. 4. С. 222.

<sup>67</sup> Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194.

<sup>68</sup> Соловьев Вл. Литературная критика. М., 1990. С. 153.

Призрак льдины огнедышащей  
В ярком сумраке погас,  
И стоит меня не слышащий  
Гиацинтовый Пегас.

Мандрагоры имманентные  
Зашуршали в камышах,  
А шершаво-декадентные  
Вирши в вянущих ушах<sup>69</sup>.

Вторая облекала в орнаментальную «цицероновскую» риторику заурядную обывательскую ситуацию, словно предвещая «монологи» Васисуалия Лоханкина:

На небесах горят паникадила,  
А снизу – тьма.  
Ходила ты к нему иль не ходила?  
Скажи сама!  
Но не дразни гиену подозренья,  
Мышей тоски!  
Не то смотри, как леопарды мщенья  
Острят клыки!  
И не зови сову благоразумья  
Ты в эту ночь!  
Ослы терпенья и слоны раздумья  
Бежали прочь.  
Своей судьбы роди́ла крокодила  
Ты здесь сама.  
Пусть в небесах горят паникадила, —  
В могиле – тьма<sup>70</sup>.

Но именно Владимиру Соловьеву, от души поохотавшему над первыми шагами русских символистов, предстояло уже после смерти стать знаменем для «младших» поэтов этого направления. Его учение о Софии – Божественной Премудрости, Вечной Женственности и Мировой Душе – определило их поэтику и взгляд на предназначение искусства. Все это произойдет почти через десять лет.

Но лишь Вячеславу Иванову суждено было пережить преображающий опыт личного общения с великим христианином, мыслителем и поэтом. Опыт, после которого прежним оставаться было уже невозможно. И встреча их, сначала заочная, а затем и лицом к лицу, вскоре состоялась.

Дарья Михайловна, которая вопреки воле матери никогда не прекращала с бывшим супругом дружеской переписки, без ведома Вячеслава показала его стихи Владимиру Соловьеву. Тот увидел в них главное, что сам называл «безусловной самобытностью». Он послал Иванову телеграмму, в которой высоко отзывался о его поэзии и предложил опубликовать некоторые из стихов. Вячеслав согласился. Вскоре, в 1898 и 1899 годах, в журналах «Космополис» и «Вестник Европы» Владимир Соловьев напечатал по несколько стихотворений Вяч. Иванова. Среди них была и «Тризна Диониса», в которой слышались и тютчевские отголоски, и насле-

---

<sup>69</sup> Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194.

<sup>70</sup> Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 194, 195.

дие классической филологии, и уроки Ницше, и живое переживание опыта любви через дионисийскую мистерию. Неповторимые черты и голос «мэнады» было трудно спутать с чьими-то другими.

Зимой, порою тризн вакхальных,  
Когда Мэнад безумный хор  
Смятеньем воплей погребальных  
Тревожит сон пустынных гор, —

На высотах, где Мельпомены  
Давно умолкнул страшный глас  
И меж развалин древней сцены  
Алтарь вакхический угас, —

В благоговеньи и печали  
Воззав к тому, чей был сей дом,  
Мэнаду новую венчали  
Мы Дионисовым венцом.  
<...>

Тогда пленительно-мятежной  
Ты песнью огласила вдруг  
Покрытый пеленою снежной  
Священный Вакхов полукруг.  
<...>

Дул ветер; осыпались розы;  
Склонялся скорбный кипарис...  
Обнажены, роптали лозы:  
«Почил великий Дионис!»

И с тризны мертвенно-вакхальной  
Мы шли, туманны и грустны;  
И был далек земле печальной  
Возврат языческой весны<sup>71</sup>.

Позже Вячеслав Иванов говорил, что не только библейская духовная традиция, но и «эллинская религия страдающего бога», как потом он назовет первую написанную им книгу о дионисийстве, — пролог к христианству для языческого мира, своего рода «ветхий завет язычества». В основе ее — культ бога умирающего и воскресающего, бога — жертвы. Такое предвидение Христа в дохристианском мире было дорого и Владимиру Соловьеву. С ним после той телеграммы Вячеслав Иванов встречался всякий раз, как приезжал в Россию. О его значении в своей жизни поэт лучше всего скажет в «Автобиографическом письме»: «Он был покровителем моей музыки и исповедником моего сердца»<sup>72</sup>. Но в первую их встречу Вячеслав Иванов прямо заявил Соловьеву, что не согласен ни с одной его мыслью. Соловьев встал, молча обнял и поцеловал своего гостя. Открытость, бесстрашие мысли и внутренняя свобода Вячеслава

---

<sup>71</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 2. С. 571, 572.

<sup>72</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель. 1974. Т. 2. С. 20.



пришлись ему глубоко по сердцу. Тогда он пророчески сказал собеседнику: «На нищезанстве вы не остановитесь».

А ранней осенью 1899 года Соловьев пригласил Вячеслава Иванова посетить его «пустыньку» – так он называл подмосковное имение Узкое, где часто гостил у своего друга, профессора философии и ректора Московского университета князя Сергея Николаевича Трубецкого. Название этого села было известно еще со второй половины XVI века. Оно принадлежало поочередно Гагариным, Стрешневым, Голицыным, Толстым, и, наконец, последними его владельцами стали Трубецкие. После октябрьского переворота усадьбу сделали санаторием Академии наук. Здесь в разное время отдыхали и лечились многие выдающиеся ученые, писатели и деятели искусства. В конце 1920-х годов в Узком вместе с женой побывал О. Э. Мандельштам, для которого имя В. С. Соловьева всегда было свято. Надежда Яковлевна потом вспоминала: «Когда мы жили в Узком, санатории ЦеКУБУ, разместившегося в усадьбе Трубецких, где умер Соловьев, О. М. поражался, как равнодушно советские ученые занимаются своими делами, пишут статьи, почтывают газеты и слушают радио в том самом кабинете, где... умер Владимир Соловьев. Я тогда не знала ничего про Соловьева, и он с отвращением мне сказал: “Такая же дикарка, как они”... От этой профессорской толпы у О. М. появилось ощущение варварского нашествия в священные места русской культуры»<sup>73</sup>.

Сегодня Узкое, которое по-прежнему остается санаторием Академии наук, уже давно вошло в черту Москвы. До него легко добраться от станции метро «Теплый Стан» или «Коньково». А тогда оно находилось в значительном отдалении от города, и ехать до него надо было железной дорогой.

В «пустыньку» Владимир Соловьев приглашал только тех, кого считал самыми близкими духовно, своими друзьями. Это была особая честь, которая выпала и Вячеславу Иванову. Владимир Соловьев очень долго и обстоятельно объяснял ему, как добираться до «пустыньки». Вячеслав Иванов очень серьезно и внимательно слушал. И тем не менее в назначенный день, хотя и старался все исполнить в точности, сел не в тот поезд, сошел не на той станции и пошел не по той дороге. Соловьев ждал его тщетно. Но, блуждая по незнакомым лесам и лугам, пытаясь отыскать путь, Вячеслав вел с Владимиром Соловьевым мысленный разговор. Платоновское эхо через века отзывалось на подмосковных тропах. В античные времена такая беседа называлась диатрибой, то есть диалогом с воображаемым собеседником.

Прежнее общение с Соловьевым не прошло для Вячеслава даром. В нем самом с той поры многое переменилось. Он стал ближе к своему нынешнему собеседнику на пиру мысли. Ницше, говорил Вячеслав, был сущностно не прав, создавая свое учение о сверхчеловеке. Он основывал его на идее «смерти Бога» и богопреемстве человеческого «я». Те же чаяния, что у первых людей из библейского рассказа о грехопадении. И очень похожий итог... Ведь Ницше предполагает вывести своего «сверхчеловека» путем некоего идеального биологического подбора, с помощью евгеники, как завершающее звено эволюции. Но «биологический подбор» – это Дарвин. Вот чей голос отчетливо слышен через «дионисийство» Ницше и его идеал сверхчеловека. Все кончается человеком-зверем, особью, а не личностью. И в ответ он словно слышал громовый, раскатистый хохот Владимира Соловьева и вспоминал его слова о том, что человеческое «я» безусловно в возможности и ничтожно в действительности. Да, Владимир Сергеевич, – мысленно продолжал Вячеслав Иванов, – вы правы: речь должна идти не о сверхчеловечестве, а о богочеловечестве, высшая задача которого – победа над смертью. Обычный страх перед ней – это малодушие, но невозможность примириться с самим фактом смерти отцов и дедов, любимых и друзей, гениев, составляющих славу человечества, и своих собственных потомков, еще не рожденных, есть благородный и нравственно обязывающий стимул нашего пребывания в мире. «Смерть зови на смертный бой» – вот призыв к жизненному

<sup>73</sup> Мандельштам Н. Воспоминания. М., 2006. С. 269.

подвигу и формула предназначения человека. И победа в этом бою совершается только крестом — лишь в нем Божественная любовь торжествует над смертью.

Смерть и Время царят на земле —  
Ты владыками их не зови:  
Все, кружась, исчезает во мгле —  
Неподвижно лишь солнце любви<sup>74</sup>.

«Церковь есть таинство вселенской любви и свободного единения во Христе» — пишет Соловьев. Да, церковное сознание столь живо и полнодейственно в нем, что определяет все содержание его философии, — размышлял в пути Вячеслав Иванов. — И это таинство любви всегда лично направлено. Истина оправдывается только будучи созерцаема в другом. “Ты еси” — в этом акте любви и кроется исток познания. Связь “ты” и “я” образуется силою вселенского Логоса. Где двое или трое собраны во имя Христа, там Он сам посреди них. Невидимый союз душ составляет богочеловеческое тело. Об этом ли говорит Соловьев? Или о чем-то еще большем? Спрошу у него».

Но тогда Вячеславу ничего не удалось спросить у Соловьева. До «пустыньки» он так и не добрался. А на следующий день и Владимир Соловьев, и Вячеслав Иванов уехали из Москвы, так и не успев встретиться. И все же, бродя по лесным дорогам и полям, Вячеслав Иванов чувствовал, как что-то новое зреет и явственно прорастает в его душе. Вячеслав понял, чего хочет тот, кого он теперь считал своим учителем, когда говорит, что надо оправдать веру наших отцов, возведя ее на новую ступень разумного сознания. Несостоявшееся свидание все же состоялось.

Последний раз Вячеслав Иванов встретился с Владимиром Соловьевым летом 1900 года в Санкт-Петербурге. Вместе с Ивановым была Лидия Дмитриевна, теперь уже его законная жена. Скрываясь от преследований первого мужа, Вячеславу и Лидии с детьми приходилось постоянно переезжать из одного европейского города в другой. Но вот наконец удалось добиться развода. Радостное известие застало их в Италии, и они сразу же обвенчались в маленькой греческой церкви близ Ливорно. Венчание на этой прекрасной земле, щедро залитой солнечным светом, давно ставшей родной для русской поэзии, было вдвойне праздничным. Вспоминались строки из «Пироскафа» Баратынского:

Завтра увижу я башни Ливурны,  
Завтра увижу Элизий земной!<sup>75</sup>

Поистине, есть в мире места, пробуждающие память об иной красоте... В тот день по греческому обычаю Вячеславу и Лидии на головы надели брачные венцы, сплетенные из виноградной лозы и обвитые белоснежной шерстью ягненка. Для Вячеслава в этом был отзвук и дионисийства, и раннего христианства с его катакомбной символикой жертвы и евхаристии.

Вскоре семья переехала в Англию, чтобы там определить сыновей Лидии в колледж. Вячеслав считал английское воспитание лучшим для детей, тем более после стольких лет скитаний. Детская память дочери поэта Лидии Ивановой сохранила некоторые черты этого путешествия: «Скала в море в Аренцано; море Неаполя; тесная каюта с круглым окошечком во время мучительного, бесконечного морского переезда в Англию. Мне не спится, я капризничаю, сержусь и брыкаю сестричку Еленушку»<sup>76</sup>. Еленушка, вторая дочь Вячеслава и Лидии,

---

<sup>74</sup> Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 384.

<sup>75</sup> Баратынский Е. Стихотворения. Л., 1948. С. 210.

<sup>76</sup> Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 13.

прожила только несколько месяцев и умерла в Лондоне. Через несколько дней рядом с домом, где жили Ивановы, был найден младенец-подкидыш. Убитые горем Вячеслав и Лидия решили, что этот мальчик послан им в утешение, и хотели его усыновить. Но британские законы запрещали иностранцам усыновление подданных Ее Величества. Мальчика забрали в приют. Достигнув совершеннолетия, он, как всякий найденный, должен был служить в Королевском военно-морском флоте.

Перенеся воспаление легких, Вячеслав и Лидия по совету врачей на несколько месяцев поселились в Корнуолле – этом приморском крае Британии с его кельтским колоритом. О тамошней жизни позже вспоминала их дочь Лидия: «Домик маленький, вокруг – степь до самого обрыва над морем, дует свирепый и крепко пропитанный океанскими запахами ветер.

Мама возила с собою нескольких девушек, которых держала как членов семьи. Она их находила в России, где спасала их от разных тяжелых, иногда трагических обстоятельств. Помню Дуню из рыбацкой деревни, Анюту, Олю – дочь пьяницы-художника, прикладных дел мастера, которая потом вышла замуж за нашего друга, профессора женевской консерватории Феликса Острога. Вспоминаются еще имена Васюни и Кристины. За воспитанием детей родители очень внимательно следили, но они часто и надолго уезжали, то в Россию, то в Палестину или в Грецию, и практическими подробностями не занимались»<sup>77</sup>.

Побывав в 1900 году в Петербурге и повидавшись с Владимиром Соловьевым, Вячеслав Иванов и Лидия Дмитриевна отправились оттуда в Киево-Печерскую лавру. Произошло это также благодаря общению с Соловьевым. Под его влиянием Вячеслав Иванов начал постепенно возвращаться в Церковь. За прежние пятнадцать лет он исповедовался и причащался всего лишь один раз – перед венчанием со своей первой женой, и то формально, только потому, что этого требовал церковный устав. Такое отношение к Церкви в среде русской интеллигенции было почти всеобщим. Очень немногие в те годы начинали возвращаться к ней, в их числе и Вячеслав Иванов, которому посчастливилось встретить на своем пути Владимира Соловьева, чья гениальность стала для самых чутких из его современников живым свидетельством о Христе. Происходил этот поворот и в душе Лидии. Она, оставив в прошлом увлечение революцией и социализмом, уже давно перестала считать Церковь исключительно реакционной, вредной и пошлой организацией. Медленно, с трудом, Лидия все же приближалась к Церкви.

В Киево-Печерской лавре Вячеслав и Лидия – оба впервые после долгого перерыва, начиная с отроческих лет, – всем сердцем, искренне и сознательно причастились. В их собственной жизни словно воочию оживала евангельская притча – блудные дети возвращались к Отцу, в родной дом.

После причастия Вячеслав и Лидия дали из Киева телеграмму в Петербург Владимиру Соловьеву, спеша поделиться с ним своей радостью. Они еще не знали, что в это время мыслитель умирал под Москвой в «пустыньке» – в Узком. Встреча с ним Вячеслава и Лидии в Петербурге оказалась последней. Тогда Вячеслав Иванов успел сообщить Соловьеву, что готовит к печати первую книгу стихотворений, которые тот когда-то так сердечно напутствовал. Сказал поэт и о своем решении не входить ни в один из тогдашних символистских кругов и сборников, а выступать самому, отдельно. Соловьев одобрил это, обещал Иванову написать статью о нем по выходе его книги и спросил, как она будет называться.

«Кормчие Звезды», – ответил Вячеслав Иванов. «Сразу видно, что вы филолог, – сказал ему Владимир Соловьев. – “Кормчая Книга”, “Номоканон”. Очень хорошо».

«Номоканон», или – в славянском переводе – «Кормчей Книгой», назывался византийский церковный устав, содержащий непреложные соборные решения. Соловьев понял мысль Вяч. Иванова: как кормщик определяет движение корабля по звездам, так человек строит свой

<sup>77</sup> Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 13.

духовный путь по вечным неизблемым истинам. В Средние века говорили, что Господь дал людям две книги – Священное Писание и звездное небо над головой.

Статью о сборнике «Кормчие Звезды» Владимир Соловьев написать не успел. Он умер на пороге XX века, предсказав его катастрофы и чудовищные потрясения, а также небывалый духовный подъем и единение христиан перед лицом главного врага в своем последнем великом произведении – «Три разговора» и входящей в него «Повести об антихристе». Одни его предвидения в XX столетии сбылись, другие – нет, многие только наметились, апокалиптический сценарий отложился на более поздние времена. Но и у библейских пророков нередко проявлялся «синдром исторической дальновзоркости» – сокращение временной перспективы, когда далекое казалось близким. Вне зависимости от этого Владимир Соловьев стал одной из «кормчих звезд» мировой культуры и религиозной мысли. Для Вячеслава Иванова же он навсегда остался любимым и неизменным собеседником.

Первая книга поэта вышла в Петербурге в 1903 году – через два с небольшим года после смерти Соловьева. «Кормчие Звезды» Вячеслав Иванов посвятил памяти матери. Открывалась книга стихотворением, очень характерным для него – с тем мифопоэтическим восприятием космоса, которое соткалось из «дионисийства» и тючевских уроков «осени первоначальной»:

Вчера во мгле неслись титаны  
На приступ молнийных бойниц,  
И широко сшибались станы  
Раскатом громких колесниц:

А ныне, сил избыток знойный  
Пролив на тризне летних бурь,  
Улыбкой Осени спокойной  
Яснеет хладная лазурь.

Она пришла с своей кошницей,  
Пора свершительных отрад,  
И златотканой багрянницей  
Наш убирает виноград.

И долго Север снежной тучей  
Благих небес не омрачит,  
И пламень юности летучей  
Земля, сокрыв, не расточит.

И дней незрелых цвет увядший  
На пире пурпурном забвен;  
И первый лист любезен падший,  
И первый плод благословен<sup>78</sup>.

Другое стихотворение, одно из наиболее значимых в книге, носящее название «Красота», Вячеслав Иванов посвятил Владимиру Сергеевичу Соловьеву:

Вижу вас, божественные дали,  
Умбрских гор синеющий кристалл!

---

<sup>78</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 515.

Ах! там сон мой боги оправдали:  
Въяве там он путнику предстал...  
«Дочь ли ты земли  
Иль небес – внемли:  
Твой я! Вечно мне твой лик блистал»<sup>79</sup>.

В «Красоте» отозвалась одна из любимых идей Соловьева – о Софии Божественной Премудрости. Философ воспринимал ее как Личность, как живую Сущность – воплощение Добра, Истины и Красоты. О своем мистическом опыте встречи с Софией он поведал в поэме «Три свидания», возвышенной и одновременно полной легкого и светлого юмора. Благоговению и серьезности в ней отнюдь не мешает ни восклицание бонны-немки «Володинька! Ах, очень он глупа!», ни курьезнейший эпизод, когда, уйдя в египетскую пустыню в поисках Софии, ее верный рыцарь попал в плен к бедуинам и, принятый за дьявола из-за своего высокого черного цилиндра, чуть не был убит.

Этими чертами личности и поэзии Владимира Соловьева Вячеслав Иванов бесконечно дорожил, но сам обладал ими весьма в малой степени, особенно в ранний период. В «Кормчих Звездах» преобладал высокий торжественный настрой, слышался отзвук Пиндарова дифирамба и державинской оды. Язык многих стихотворений, входящих в эту книгу, мог показаться слишком архаическим. Частота употребления старославянской лексики у Вячеслава Иванова была очень велика. Ему и впоследствии нередко ставили это в вину. Гумилев в одной из своих рецензий писал: «Предание не говорит, слагал ли песни царь-волхв Гаспар. Но если слагал, – мне кажется, они были похожи на стихи Вячеслава Иванова. Когда ночью он ехал на разукрашенном верблюде, видя те же пески и те же звезды, когда даже путеводная, ведущая в Вифлеем звезда стала привычной, повседневной, он пел песни, странные, тягучие, по мелодии напоминающие пяти- и шестистопные ямбы, любимый размер В. Иванова...»

Стиль – это человек, – а кто не знает стиля Вячеслава Иванова с его торжественными архаизмами, крутыми enjambements, подчеркнутыми аллитерациями и расстановкой слов, тщательно затмевающей общий смысл фразы? Роскошь тяжелая, одурманивающая, варварская, словно поэт не вольное дитя, а персидский царь...»<sup>80</sup>

А литератор и пародист А. А. Измайлов, писавший под псевдонимом «Аякс», в своей пародии на Вячеслава Иванова вложил в его уста такие слова:

Одре сем на позволь, прелестница, и впредь  
Мне уст зной осязать и пышну персей знатность  
Пиит истомных «сред», воздам я мзду и Тредь —  
Яковского стихом твою вспою приятность<sup>81</sup>.  
Хмель чарый, звончат глас, свирель утомных куш  
Я паки в стих приял – стих плесни полн и ржавин.  
Сокровный мне в волшбе, из круговратных пуш,  
Взревев, возревновал Державин<sup>82</sup>.

Но было бы чудовищной несправедливостью упрекать Вячеслава Иванова в намеренном архаизаторстве и стилизованности. Ведь и сам старославянский язык – во многом книжный,

<sup>79</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 517.

<sup>80</sup> Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 286.

<sup>81</sup> Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 12.

<sup>82</sup> Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1978. С. 35.

искусственный, но от этого не менее прекрасный – создавался когда-то для перевода священных книг с греческого и воспринял вместе с его словообразовательными моделями величавость и благозвучие, наследие Гомера, Эсхила и Демосфена. Для Вячеслава Иванова, филолога-классика, укорененного и в античной, и в мировой культуре, такое глубокое чувство эллинской природы русского слова было совершенно органическим. Он ощущал себя собеседником каждой великой эпохи. Афины и Рим, Средневековье и XVIII столетие, немецкие романтики, Пушкин и Достоевский были для него родными. Но стройное, структурное единство здания мировой культуры, его великолепная архитектоника и взаимосвязь еще сильнее заставляли поэта чувствовать многообразие и неповторимость, сущностную драгоценность каждого ее отдельного феномена. И с этим было связано отношение Вячеслава Иванова к слову в поэзии. Так, у его современника и друга Константина Бальмонта нередко происходило размывание слова как смысловой единицы, звуковое «перетекание» в аллитерации:

Ландыши, лютики, ласки любовные,  
Ласточки лепет, лобзание лучей...

Вячеслав Иванов же, напротив, всегда ориентировался на отдельность и самоценность слова в стихе. Оно было подобно камню средневекового собора, любой из которых, даже самый малый, важен и незаменим на своем месте. В отличие от Бальмонта слова у Вячеслава Иванова не «перетекали», а «сшибались» согласными. Ему была присуща классическая ясность («ясногранность», по его собственному определению), античная торжественная риторичность, звонкость звука, порой отзывающаяся подлинно державинским одическим громом, услышанным через Пиндара и Вакхилида – древнегреческих родоначальников оды и дифирамба, творения которых Вячеслав Иванов знал в подлиннике. О его поэтическом языке другой замечательный филолог-классик, Фаддей Францевич Зелинский, писал так:

«Что случилось с русским языком, застывшим, казалось, в богатстве своих слов и форм, что случилось с ним в руках этого кудесника!

Мы опять возвращены к изначальности, к периоду творческой молодости языка. В горниле дионисизма плавают острые грани и отверделые поверхности слов, язык вновь становится гибким и способным к новым образованиям и слияниям. В то же время воскресает и то, что казалось полузабытым и даже совсем забытым... Если бы было принято составлять для наших поэтов, как для древних, “специальные словари”, вряд ли кто-либо оказался по запасу своих слов богаче нашего поэта. И при таком переизбытке вечное алкание – то и дело тонкость ощущения, музыка стиха, игра аллитерации потребует новых образований, – и поэт берет свой молот и кует, кует до тех пор, пока из элементов существующего не выкует того нового, которое ему нужно... Но при всей своей смелости В. Иванов всегда строго национален: его переизбыток состоит либо из древних церковно-славянских и русско-народных слов или из им же образованных с помощью русских же элементов. Отсюда строгое единство, строгая цельность его поэтического стиля»<sup>83</sup>.

О главной же особенности «Кормчих Звезд» лучше всего сказала первый биограф Вячеслава Иванова, преданнейший друг поэта в последние годы его жизни, Ольга Шор: «В “Кормчих Звездах” мало психологии, душевности в обычном смысле этого слова. Не проникнуть в сферу духа, именно ту, которую книга отображает, значит ничего в ней не понять. Она не психична, она пневматична. В этом ее трудность, а не в языке, который вовсе не “мудрен”, как сетовали многие, но лишь *мудр*...»<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 365.

<sup>84</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 43.

Ивановы продолжали жить за границей. В 1902 году супруги побывали в Иерусалиме. Там у Гроба Господня они встретили Пасху. И цветущая весенняя земля, и воздух – все вокруг было напоено радостью Воскресения. На обратном пути в Афинах Вячеслав Иванов тяжело заболел тифом. Он думал, что умирает. Да и врачи, лечившие его, прямо говорили Лидии Дмитриевне, что больной безнадежен. Поэт радовался, что после его ухода останутся «Кормчие Звезды», которые как раз тогда печатались в Петербурге. Но вопреки очевидности и прогнозам докторов произошло чудо. Вячеслав Иванов выздоровел. Заботливый уход, любовь и молитвы жены вернули его к жизни. Один из самых прекрасных мифов Эллады вдруг ожил и обернулся зеркально обратным смыслом: Эвридика вывела Орфея из царства смерти. То, что оказалось не по силам певцу, совершила любящая женщина. Да и vyšний замысел о поэте был еще далек от осуществления. «Кормчие Звезды» стали лишь началом, а не концом пути...

Поставив мужа на ноги, Лидия Дмитриевна уехала к детям в Женеву, а Вячеслав Иванов на осень и зиму остался в Афинах. Там он изучал античную археологию, практиковался в разговорном греческом языке, слыша в нем живые отголоски еще догомеровской эпохи, собирал материалы по истории древних мифов и культов, которые лягут в основу его будущих научных трудов о дионисийской религии и прадионисийстве. Весной 1903 года Вячеслав Иванов вернулся к семье в Швейцарию. Ивановы снимали виллу Жавá в местечке Шатлен неподалеку от Женевы. Хотя вся семья собиралась там нечасто. Старший сын Лидии Дмитриевны, Сергей, учился в Лондоне и приезжал только на каникулы. Младшие дети, Константин и Вера, ходили в местную школу. Маленькая Лидия блаженствовала в доме и в прекрасном саду. Сами Вячеслав Иванович и Лидия Дмитриевна почасту и надолго уезжали из Шатлена, бывали то в России, то в других европейских странах. Так, целую зиму они однажды провели в Париже. А хранителем домашнего очага в Шатлене, словно бы неким живым подобием римского лара, оставалась Мария Михайловна Замятнина, подруга Лидии Дмитриевны еще с юных лет. Внучка одного из «отцов» судебной реформы эпохи Александра II, необычайно умная и независимая, она получила высшее образование, что было тогда редкостью среди девушек из знатных семей. Позже Мария Михайловна проявила себя как энергичный и предприимчивый организатор многих добрых дел. Она создала «Общество помощи учащейся молодежи», основала бесплатную столовую для студентов, находила и оплачивала им жилье. Теперь же, встретив свою старую подругу, уже счастливую в новом браке с любимым человеком, видя полную непрактичность Вячеслава и Лидии в быту, Мария Михайловна решила взять на себя эту сторону их жизни, стать «муравьем» для двух «стрекоз». Тем более забота о будущем «светиле науки» было вполне логичным продолжением ее прежней деятельности. Вместе с Ивановыми Мария Михайловна поселилась в Шатлене. Поблизости, в пятнадцати минутах ходьбы по горной тропинке, в местечке Иаир, в собственном доме жил отец Лидии Дмитриевны – Дмитрий Васильевич Зиновьев. Будучи всегда человеком очень добрым, на старости лет он начал раздавать свои вещи всем подряд. Семья не на шутку встревожилась, взяла Дмитрия Васильевича под опеку, купила ему небольшую виллу в Швейцарии рядом с домом, который снимала дочь, и наняла экономку-француженку. Внучка запомнила дедушку таким: «Вот он сидит в кресле, одетый в стеганный турецкий халат; я подхожу, а он одновременно вынимает из двух карманов двух маленьких котят. Он всегда старался также дать нам что-нибудь вкусное. А то возьмет да и подарит монету в пять франков... Под конец жизни дедушка сильно заболел, и мама наняла для него соседний с виллой Жава дом, чтобы лучше за ним ухаживать. Когда он умер, меня позвали прощаться. Он благообразно лежал на столе. Запомнилась его длинная шелковистая борода. Горели свечи, стояли цветы. И я впервые удивилась непонятной тайне смерти»<sup>85</sup>.

Жизнь на вилле Жавá шла своим чередом. Вячеслав Иванов изо дня в день работал над исследованием о дионисийстве. Мария Михайловна мудро вела семейное хозяйство. Но живой

<sup>85</sup> Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 19, 21.

душой дома, вносящей в повседневность поэзию и радость, превращающие ее в праздник, была Лидия Дмитриевна. Солнечной, щедро и талантливо живущей, любящей во всем красоту, запомнила мать маленькая Лидия: «Вот мама только что приехала и кинула мне из окна мансарды золотой апельсин; я подбежала, а он вдруг начал прыгать. Это был мячик, но мне казалось, что это божественная игрушка небожителей... Я представляла себе рай по образу нашего сада весной, когда цвели все фруктовые деревья... Красота этого сада захватывала дыхание... Мама обожала красивые ткани. Большею частью гладкие, но всевозможной окраски. Когда ей случалось проходить мимо распродажи материй, она обязательно покупала отрезы, без всякого намерения шить из них что-либо – просто за красоту цвета. Со временем образовалась целая корзина этих тканей. Быть может, уже в женеvский период они украшали стены “уютного домика”... в саду. Позже мама в Петербурге свою так называемую “оранжевую комнату” отделила по-восточному: никакой мебели, у стен на полу матрасы, покрытые тканями, коврами, подушками. Все веселое, радостное и пестрое. Для себя мама из своих тканей делала хитоны, как она их называла. Хитон состоял из двух кусков материи, длинных, до полу, скрепленных на плечах брошками. Сверху она накидывала ткань в виде длинного и широкого шарфа, спускающегося с плеч вдоль рук»<sup>86</sup>.

Вскоре после выхода «Кормчих Звезд» Вячеслав Иванов отправился в Париж по приглашению Высшей школы общественных наук, основанной М. М. Ковалевским для русских, чтобы прочитать курс лекций о древнегреческом культе Диониса. В этой школе преподавали и выступали многие видные ученые и писатели. За год с небольшим до Вячеслава Иванова читал свой доклад о стихотворной технике Некрасова и А. К. Толстого Максимилиан Волошин.

Ивановские лекции имели огромный успех. Их посещали не только учащиеся, но и профессора Высшей школы, и представители русской научной и художественной элиты, жившие тогда в Париже. В своих лекциях Вячеслав Иванов спорил с ницшеанским видением дионисийства. Он говорил о том, мимо чего прошел Ницше: «Гениальный автор “Рождения Трагедии” возвратил миру Диониса, знаменательно, что в героическом боге Трагедии Ницше почти не разглядел бога, претерпевающего страдание. По Ницше эллины были “пессимисты” из полноты своей жизненности; их любовь к трагическому... была их сила, переливающая через край. Дионис – символ этого изобилия и чрезмерности, этого исступления от наплыва живых энергий»<sup>87</sup>.

Вячеслав Иванов говорил о другом, более глубоком и древнем источнике Дионисова культа: «Трагедия возникла из оргий бога, растерзанного исступленными. Откуда исступление? Оно тесно связано с культом душ и первобытными тризнами. Дионис в глазах древних не был только богом диких свадеб и совокупления, но богом мертвых и сени смертной. Он вносил смерть в ликование живых. И в смерти улыбался улыбкой ликующего возврата, божественный свидетель неистребимой рождающей силы. Бог страдающий, бог ликующий – эти два лика изначала были в нем нераздельно и неслиянно зримы»<sup>88</sup>.

Если Ницше видел в христианстве начало, враждебное дионисийству с его полнотой жизненных сил, то Вячеслав Иванов, напротив, разглядел в «эллинской религии страдающего бога» предчувствие спасения мира через голгофский Крест. Дионисийские жизненные силы в христианстве не выхолащивались, как думал Ницше, но просветлялись и обретали новое направление. Вячеслав Иванов утверждал: «Дионис был тайным и внутренним союзником Бога галилейских рыбаков. Религия Диониса была нивой, ждавшей оплодотворения христианством»<sup>89</sup>.

<sup>86</sup> Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 14, 15.

<sup>87</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 61.

<sup>88</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 61.

<sup>89</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 62.



В скором времени о парижских лекциях Вячеслава Иванова стало известно и в России. Тогда еще не знакомый с ним Дмитрий Мережковский прислал из Петербурга письмо Иванову с просьбой дать чтения о Дионисе в журнал «Новый Путь», издаваемый Религиозно-Философскими Собраниями, ставшими первой попыткой найти общий язык между Русской Православной Церковью и русской интеллигенцией. Попытка эта спустя год была пресечена обер-прокурором Святейшего синода К. П. Победоносцевым, видевшим опасность во всем живом и неофициальном. Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус, инициаторы Собраний, уехали из Петербурга в Париж, а журнал «Новый Путь» получил другое название – «Вопросы Жизни». Теперь его возглавили Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков. В виде серии статей курс лекций Вячеслава Иванова был напечатан в 1904 году в «Новом Пути» под заглавием «Эллинская религия страдающего бога», а в 1905-м – в «Вопросах Жизни» под заглавием «Религия Диониса». Знаменитый московский издатель М. В. Сабашников сразу предложил Вячеславу Иванову издать этот курс отдельной книгой, но поэт на долгие годы задержал окончательную редакцию текста. Книга была напечатана лишь в октябре 1917 года и лежала на складе издательства. Во время захвата Москвы большевиками в здание склада попал снаряд и весь тираж сгорел. У Вячеслава Иванова остался только один экземпляр корректуры, который позже был увезен им за границу.

В Париже в Высшей школе общественных наук в 1903 году Вячеслав Иванов познакомился с Валерием Брюсовым, тогда уже общепризнанным вождем московских символистов, пришедшим на его лекцию. Незадолго до этого, не будучи знакомым с Ивановым, Брюсов опубликовал в «Новом Пути» сочувственную рецензию на «Кормчие Звезды». В ней он писал: «Книга Вячеслава Иванова странно не похожа на обычные русские “сборники стихотворений”». Словно автор жил где-то на одиноком острове, вне наших ежедневных литературных дрызг, вне наших базарных криков: “декадент? – не декадент?” Вячеслав Иванов – настоящий художник, понимающий современные задачи стиха, работающий над ними. Его стих – живое, органическое целое, самостоятельная личность. Автор верно выбирает для него рифмы, придающие ему выражение лица. Он ищет новых размеров, которые точно соответствовали бы настроению стихов, дополняли бы содержание. Его особая сила в самостоятельном словаре. Он не довольствуется безличным лексиконом расхожего языка, где слова похожи на бумажные ассигнации, не имеющие самостоятельной ценности. Он понимает удельный вес слов, любит их, как иные любят самоцветные камни, умеет выбирать, гранить, заключать в соответствующие оправы, так что они начинают светиться неожиданными лучами. Вместе с тем Вячеслав Иванов истинно современный человек, причастный всем нашим исканиям, недоумениям, тревогам. Его стихи говорят о том, что нам важно, о чем нам интересно слышать»<sup>90</sup>.

Брюсов очень точно угадал инакость Вячеслава Иванова по отношению ко всему тогдашнему литературному процессу. Его и в самом деле сформировала не писательская среда тех лет с ее характерным налетом богемности и почти обязательной цеховой принадлежностью, с претензиями на исключительность, а уединенная, сосредоточенная и углубленная жизнь ученого, повседневная тихая и упорная работа в библиотеках, музеях, университетских семинарах и на археологических занятиях. Она же сохранила и цельность его поэтического мира от многих разрушительных вихрей. И позже, когда мир петербургской художественной богемы Серебряного века был немислим без «мага и мистагога Вячеслава Великолепного» и его «башни», эта прививка оказалась спасительной.

С Брюсовым Вячеславу Иванову было необычайно интересно разговаривать о тайнах поэтического ремесла: о выразительных возможностях разных стихотворных размеров, строфики, рифмы, о еще не выявленных языковых богатствах. Оба поэта были мастерами и непревзойденными знатоками и античных, и русских мѣтров.

<sup>90</sup> Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 35.

Прочитав курс лекций по дионисийству в Высшей школе общественных наук, Вячеслав Иванов вместе с Лидией Дмитриевной вернулся из Парижа в Шатлен. И здесь, между занятиями эллинской и римской словесностью, он подготовил к печати вторую свою книгу лирики – «Прозрачность». В отличие от «Кормчих Звезд», куда вошли стихи, написанные почти за два десятилетия, эта книга сложилась «на одном дыхании», под воздействием могучего любовного переживания. Прозрачность открывала глубину и красоту жизни и всего мироздания:

Прозрачность! колдуешь ты с солнцем,  
Сквозной раскаленностью тонкой  
Лелея пожар летучий;  
Колыша под влагой зыбучей,  
Во мгле голубых отдалений,  
По мхам малахитным узоры;  
Граня снеговерхие горы  
Над смутностью дольных селений;  
Простор раздражая звонкий  
Под дальним осенним солнцем.

Прозрачность! воздушною лаской  
Ты спишь на челе Джоконды,  
Дыша покрывалом стыдливым.  
Прильнула к устам молчаливым —  
И вечностью веешь случайной;  
Таящейся таешь улыбкой,  
Порхаешь крылатостью зыбкой,  
Бессмертною, двойственной тайной.  
Прозрачность! божественной маской  
Ты реешь в улыбке Джоконды<sup>91</sup>.

Немало стихотворений в «Прозрачности» было посвящено тайнам художественного творчества. Среди них одно из самых ярких – «Кочевники Красоты» с эпиграфом из неоконченного и неопубликованного романа Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Пламенники». К слову сказать, в то же самое время, когда у Вяч. Иванова слагались стихи, вошедшие в «Прозрачность», Лидия Дмитриевна в саду виллы Жава писала свою ставшую знаменитой повесть «Тридцать три уroda». Маленькая Лидия ко дню рождения мамы вырезала из бумаги тридцать три фигурки, сшила их вместе, а когда дарила, задала детский вопрос: могут ли тридцать три уroda стать одним красавцем? Позже она вспоминала, как эта мысль, к ее гордости, вызвала целую полемику у взрослых.

В «Кочевниках Красоты» слышался мотив, звучавший еще у Верлена и Рембо, – бунт художника против тусклого и рутинного мещанского существования, против царства необходимости:

Вам – пращуров деревья  
И кладбищ теснота!  
Нам вольные кочевья  
Сулила Красота.

---

<sup>91</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 737, 738.

Вседневная измена,  
Вседневный новый стан:  
Безвыходного плена  
Блуждающий обман.

О, верьте далее чуду  
И сказке всех завес,  
Всех весен изумруд,  
Всей широте небес!

Художники, пасите  
Грез ваших табуны;  
Минуя, всколосите —  
И киньте – целины!

И с вашего раздолья  
Низриньтесь вихрем орд  
На нивы подневоля,  
Где раб упрягом горд.

Топчи их рай, Аттила, —  
И новью пустоты  
Взойдут твои светила,  
Твоих степей цветы<sup>92</sup>.

Созерцание Красоты вызывало в сердце поэта желание прославить ее Небесного Творца. Песнь, завершающая книгу «Прозрачность», звучала радостно и восторженно. В ней отзывались и Давидова Псалтирь, впитанная Вячеславом с младенчества, и Шиллерова «Песнь Радости»:

Хвалите Бога, силы сфер!  
Хвалите Бога, души недр!  
Бессонный ключ в ночи пещер!  
На высотах шумящий кедр!

.....

И каждый вздох, и каждый глаз!  
И каждый глад, и каждый труд!  
В луче проснувшийся алмаз!  
Во мраке – сила тайных руд!

.....

Хвалите Бога! – как роса,  
Как венчики цветов в росе:  
В росинке каждой – небеса,  
В душе единой – души все!<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 778.

<sup>93</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 812, 813.

Валерий Брюсов предложил напечатать «Прозрачность» в руководимом им декадентском издательстве «Скорпион». Вячеслав Иванов с Лидией Дмитриевной начали собираться в Москву. Там им предстояло провести несколько месяцев и близко познакомиться с московским кругом поэтов-символистов. Традиционные толстые литературные журналы не жаловали модернистов и не предоставляли им места на своих страницах. Тогда на помощь декадентам пришли молодые эстеты-меценаты из московского купечества. Одним из них был Сергей Александрович Поляков – совладелец «Знаменской Мануфактуры», самоучка, человек широко образованный, знающий многие европейские и восточные языки, переводивший с них, очень точный и бережливый в делах своего предприятия, но щедро жертвовавший на изящные искусства. Он и создал в 1901 году первое в России модернистское издательство «Скорпион». Печатало оно по преимуществу декадентов, хотя в самый год своего основания выпустило «Листопад» – сборник стихотворений И. А. Бунина, заведомого реалиста, который никогда не питал теплых чувств к поэтам нового направления. Первоначально издательство находилось на углу Ильинки и Юшкова переулка – в самом оживленном деловом торгово-промышленном центре Москвы, близ Биржи. Но в 1904 году, незадолго до приезда в Москву Вячеслава Иванова с женой, Брюсов с Поляковым начали издавать в дополнение к «Скорпиону» роскошный ежемесячник искусств и литературы под названием «Весы». Помещение редакции журнала разместилось в гостинице «Метрополь», только что построенной лучшими архитекторами московского модерна Шехтелем, Валькоттом, Кекушевым и украшенной мозаиками Врубеля. Самый облик этой новой гостиницы и ее великолепные интерьеры были как нельзя под стать «Весам». Перебрался в «Метрополь» и «Скорпион». Владельцем его был Сергей Поляков, но все дела издательства и редакционную политику осуществлял Валерий Брюсов. О повседневной жизни в «Скорпионе» вспоминала сестра жены Брюсова Б. М. Погорелова: «Обычно в редакции собирались часам к четырем, так как к этому времени появлялся С. А. (Поляков. – Г. З.), освободившись от занятий в правлении своей фирмы, где заведовал контролем и отчетностью по многотысячным операциям. Между собравшимися писателями и художниками нередко возникали споры, иногда из-за каких-нибудь разногласий в области чисто внешней – качество бумаги, шрифт, тон краски и т. д., но иногда – на почве более глубоких расхождений во взглядах на сущность того или иного произведения или по теоретическим вопросам искусства. С мягкой, доброжелательной улыбкой прислушивался С. А. ко всем этим, часто пылким, спорам. Сам говорил чрезвычайно мало. Только в глазах светился живой огонек понимания, соединенного не то с хитрецой, не то с насмешкой.

Когда приступали к изданию какой-нибудь книги, то как-то так повелось, что вопрос о ее будущей внешности обсуждался всеми присутствующими сообща. Решали, кому из художников заказать обложку, заставки, шмуцтитул. <...> Нередко иллюстрации поручались и Судейкину, и Лансере, и Сомову, и др. Многое принималось во внимание при выходе книги: личный вкус автора, подходящая бумага, нарядность оригинальной обложки, от которой требовалась безусловная гармония с содержанием. Но один вопрос не возникал никогда: о стоимости. Этого вопроса в «Скорпионе» просто не существовало, ибо его не пугали никакие расходы. Иные клише изготовлялись в Германии, оттуда же выписывали специальную бумагу – картон для обложек. Все, что выпускал «Скорпион», печаталось в одной из лучших типографий и на дорогой бумаге «верже». Понятно, что такая чисто московская, баснословная щедрость С. А. Полякова привлекала в редакцию «Весов» немало художников и писателей»<sup>94</sup>.

Та же Бронислава Погорелова так рассказывала и о визите Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в «Скорпион»: «Однажды в редакции Брюсов, держа в руках довольно объемистую рукопись, обратился к С. А.:

<sup>94</sup> Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 314, 315.

– Как-то не решаюсь сдавать в набор. Прислано В. Ивановым “О дионисовом действе”. Статья очень большая. И к символизму, собственно, мало отношения...

– А вы все-таки пустите. Я ее прочел. Уж больно хорош язык. Такое богатство редко где встретишь. Нужно, нужно напечатать... За автором, кстати, большой аванс...

Потом вскоре в “Северных цветах” Вяч. Иванов был представлен огромным циклом стихотворений. Все то же эллинско-дионисийское содержание, еще более изысканный язык. И наконец однажды в редакции появился сам Вяч. Иванов с женой, поэтессой Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Вяч. Иванов был пухлый блондин с брюшком. Небольшого роста. Красное лоснящееся лицо. Вокруг головы пушистые волосы венчиком. Небольшая бородка. За стеклами *pinse-nez* недоверчивые маленькие глаза, и от их взгляда становится неуютно. Фигура Л. Д. Зиновьевой-Аннибал была много импозантнее. Высокая, очень полная, блондинка даже уже не средних лет. Как только В. Иванов заговорил, сразу бросилась в глаза та сосредоточенная изысканность, в которую он облакал самые обыденные мысли. Манера держаться какая-то двойственная. Он одновременно давал понять, что знает себе цену, и вместе с тем проявляет какую-то нерусскую утонченность в обращении. С. А. явно благоволил этой чете. Певцу вакхических радостей и его жене никогда не было отказа в щедрых авансах»<sup>95</sup>.

В редакционный совет «Скорпиона» кроме Брюсова и Полякова входили два крупнейших московских поэта-символиста – Константин Бальмонт и Юргис Балтрушайтис. Они также высоко оценили и «Кормчие Звезды», и готовящуюся к печати «Прозрачность», и с радостью приняли Вячеслава Иванова в свой дружеский круг. Их сближало неприятие отголосков последних нескольких десятилетий в русской литературе и публицистике – позитивизма и утилитаризма, традиционной интеллигентской скорби по поводу «среды», которая всегда «заедает», горькой доли народа и собственной плачевной участи. Этому отжившему противопоставлялась жажда вместить все прекрасное, созданное мировой культурой, и стремление вернуть читателю русскую классическую поэзию, пренебрегаемую прежними «властителями дум» – публицистами и критиками второй половины XIX столетия. Вяч. Иванов сразу вошел в ритм деятельности «Скорпиона» и «Весов». Время у него теперь проходило между докладами, публичными выступлениями, чтением и обсуждением материалов, присланных в издательство и в журнал, дружескими застольями и спорами о поэзии ночи напролет. С каждым из трех поэтов «Скорпиона» у Вяч. Иванова сложились свои отношения. С Бальмонтом они были сердечными и ровными и продолжались всю жизнь. Правда, оказавшись потом в эмиграции, приятели редко встречались и переписывались.

Дружба с Брюсовым колебалась от сильного внутреннего сближения до столь же резкого взаимного неприятия друг друга. Иванову претили брюсовский внеморализм, поиск восторгов и острых эстетических и эротических переживаний любой ценой, его знаменитая формула: «И Господа, и дьявола равно прославлю я».

Из всего «триумвирата» наиболее глубокая и преданная дружба сложилась у Вячеслава Иванова с Юргисом Балтрушайтисом. Юргис родился в 1873 году в семье бедного литовского крестьянина. С детских лет вынужден был пасти свиней. Впоследствии он говорил, что никогда не понимал, почему блудному сыну из евангельской притчи эта работа казалась такой тяжелой и отвратительной. Самого Юргиса она научила зорче вглядываться в природу, любить божьих тварей, заботиться о них, оставляла много времени для созерцания, раздумий и самостоятельных занятий. Мальчик очень рано сам выучился читать и писать, хотя в распоряжении его было только несколько старых календарей и книг. В автобиографии Балтрушайтис вспоминал: «Зато в бесконечно лучших условиях развивалось мое воображение. Тут были и незабвенные зимние сказки моей матери – подчас ее собственного сочинения, – и жуткие литовские предания о чудовищах и древних великанах и о целом хищном народе людей с песьими сердцами и

<sup>95</sup> Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 319.

песыми головами. Тут были и затейливые рассказы бродячего деревенского портного-старика, и небылицы часто ночевавших в нашем доме нищих. А главное, в нескольких верстах была река Неман с белевшими с весны до осени парусами прусских барж, с курганами и остатками замков, восходивших, по народному поверью, еще ко временам меченосцев. Особенно влекло меня к этим могильным холмам и окрестным лесам, в чьих глубоких чащах, под корнями вековых деревьев еще видны были следы полевых канав, прудов и колодцев. Как особенно любил я бродить вдоль литовских проселочных дорог с покривившимися от времени, почерневшими от непогоды крестами, обилие которых внушало мне волнующее представление о древнем и скорбном шествии человечества к Голгофе...»<sup>96</sup> Настоятель местного костела заприметил способного и стремящегося к знаниям мальчика, обучил его арифметике и латыни, а затем помог поступить в Ковенскую гимназию. Бедные родители смогли оплачивать обучение сына только до пятого класса, и Юргису пришлось давать уроки сверстникам, как и Вячеславу Иванову в его гимназические годы. Что такое нужда и труд, оба поэта в полной мере испытали в детстве. Знания им дались дорогой ценой. Этот опыт пережитого сблизил Балтрушайтиса и Вяч. Иванова еще больше. Балтрушайтис вспоминал, как он «ютился в темном чулане и заучивал наизусть стихи из “Одиссеи” и “Энеиды”». Поэзия рождалась из преодоления.

Двадцати лет Балтрушайтис перебрался в Москву и окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. После этого он, по его собственному признанию, «почти исключительно занялся изучением литературы, овладел множеством языков и страстно заинтересовался новыми явлениями философии и искусства»<sup>97</sup>. Стихи Балтрушайтис начал писать еще в гимназии. Писал он и на русском, и на литовском. В Москве поэт познакомился с Брюсовым, Бальмонтом и С. Поляковым, вместе с которым перевел пьесу Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся». Ее выпуском и началась деятельность издательства «Скорпион», где Вячеслав Иванов встретился с Балтрушайтисом. О стихах Балтрушайтиса, сразу покоровивших его, Иванов писал: «Словно из-за развесистых старых деревьев, – наполовину заглушенных серой толщей церковных стен, – зазвучала органная fuga. И вот уже сбежала с уст суетливая улыбка, и внезапно отрезвился готовый к полету дух, – между тем как ухо с удивлением отмечает верность и благородство естественно расцветающих мощных форм. Какое богатство внутренних (душевных) и внешних (музыкально-словесных) звучаний и отзвуков – и с каким художническим целомудрием притушен этот блеск суровым спокойствием и горделивым воздержанием от вызывающих удивление и любопытство приманок, угодливых прельщений, своекорыстных умыслов. Ничего настоящего, усиливающегося и насильственного, ничего навеянного модою и условностью новизны или старины, не уловит слушатель в этих спетых звездах, безвременных стихах»<sup>98</sup>.

Балтрушайтис был близок и дорог Вячеславу Иванову и своей горячей, простой, живой верой, любовью к Христу. Его религиозность была непоказной и открытой.

Нового друга Балтрушайтис принял сразу и всем сердцем. Любя Вячеслава, он чувствовал и безмерную разность между их поэтическими мирами, о чем говорил в стихотворении, посвященном Иванову:

Пока ты, весь средь славы горной,  
Всегда на новь вещей глядишь,  
Я с грустью тку свой день повторный,  
Влачу в тоске ночную тишь.  
Нам, братьям, жребий дан различный:

<sup>96</sup> Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. М., 1989. С. 7, 8.

<sup>97</sup> Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. М., 1989. С. 9.

<sup>98</sup> Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. М., 1989. С. 6.

Твой каждый час – что хлеб пшеничный,  
И с ним ты крепок, с ним ты – царь...  
А мне мой миг – кроха, сухарь,  
Не в меру жесткий, слишком черствый!  
Но как бы я ни звал порой  
Цвет дня ненужною игрой,  
Храня в груди завет: «Упорствуй»,  
Приемлю скудость, боль, суму  
И верю часу моему...<sup>99</sup>

И все-таки прав был Владимир Соловьев, когда советовал Вячеславу Иванову публиковаться отдельно, а не в декадентских сборниках конца 1890-х, и предрекал, что хотя первые русские символисты и признают его своим, все равно в чем-то главном он останется среди них одиноким.

Будучи по возрасту ровесником Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Мережковского и Гиппиус, по духу Вячеслав Иванов оказался ближе младшему поколению символистов.

1904 год стал судьбоносным для русской поэзии. Кроме «Прозрачности» он ознаменовался еще тремя книгами. Одна из них вышла в Петербурге под названием «Тихие песни». Автор предпочел скрыть свое имя за псевдонимом «Ник. Т-о». Но псевдоним выдавал в нем филолога с головы до ног. Так назвался Одиссей в пещере Полифема. Представить свои стихи перед «жерлом вечности» было не менее страшно, чем оказаться перед пожирателем циклопом. «Ник. Т-о» был на самом деле Иннокентием Федоровичем Анненским – филологом-классиком, подобно Вяч. Иванову, переводчиком Еврипида, автором многих статей по древнегреческой, российской и западноевропейской словесности, а также четырех оригинальных трагедий на античные сюжеты, и кроме того – директором Царскосельской мужской гимназии. К тому времени ему исполнилось 49 лет.

«Тихие песни» стали первой и единственной прижизненной книгой стихотворений Анненского. Она прошла почти незамеченной. Снисходительно отозвался о ней в своей рецензии Брюсов и благосклонно – Блок. Позже собратья по цеху приняли Анненского в штыки за статью «О современном лиризме», опубликованную в «Аполлоне» в 1909 году. Подлинный масштаб этого огромного поэта стал очевиден, когда на следующий год в московском издательстве «Гриф» вышел его посмертный сборник «Кипарисовый ларец», подготовленный учеником Анненского и в прямом, гимназическом смысле, и в литературном отношении – Николаем Гумилевым. Не услышанный ровесниками-символистами, Анненский через их голову был по достоинству оценен новым поколением русских поэтов, по возрасту годящихся ему в дети.

Двумя другими литературными событиями 1904 года стали выпущенная тем же «Грифом» первая книга Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме» и сборник стихотворений «Золото в лазури», которым дебютировал в «Скорпионе» Андрей Белый (псевдоним Б. Н. Бугаева). Вхождение двух этих молодых поэтов ясно обозначило новый этап русского символизма. Если у старшего поколения, особенно у Брюсова и Бальмонта, преобладало эстетическое направление, то Блок и Белый сразу заявили о себе как мистики по преимуществу. С Вячеславом Ивановым их сближало глубокое почитание имени Владимира Соловьева. В дружеский круг Блока и Белого входил и племянник великого философа, также поэт, Сергей Соловьев. Он был, кроме того, троюродным братом Блока и другом детства Андрея Белого. Все трое считали себя учениками и последователями Владимира Соловьева. Но в отличие от Вячеслава Иванова, воспринявшего глубинную суть, сердцевину соловьевской философии, Блок и Белый взяли из нее только учение о Вечной Женственности и Мировой душе.

---

<sup>99</sup> Балтрушайтис Ю. Лилия и Серп. М., 1989. С. 282.

В нем и коренился блоковский культ Прекрасной Дамы (имевшей, впрочем, вполне земной прообраз с именем и фамилией), связанный через немецких романтиков с поэзией Высокого Средневековья.

Вхожу я в темные храмы,  
Совершаю бедный обряд.  
Там жду я Прекрасной Дамы  
В мерцании красных лампад.

В тени у высокой колонны  
Дрожу от скрипа дверей.  
А в лицо мне глядит, озаренный,  
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам  
Величавой Вечной Жены!  
Высоко бегут по карнизам  
Улыбки, сказки и сны<sup>100</sup>.

При всем внешнем сходстве как это мало было похоже на соловьевскую Софию из «Трех свиданий»! В своей рецензии на первый блоковский сборник, опубликованной в «Весах» (1904. № 1), Вяч. Иванов похвалил прежде всего его мелодическое богатство интонаций, благодаря которому и «отсветился» лик Прекрасной Дамы. Весь же набор средневековой рыцарской символики, эти декорации действия, позже осмеянные самим Блоком в «Балаганчике», Иванов определил как «бутафорские условности медиэвизма и романтизма».

Тот же мотив благоговейного преклонения звучал и в стихотворении Андрея Белого «Образ Вечности», входящего в книгу «Золото в лазури»:

Образ возлюбленной – Вечности —  
встретил меня на горах.  
Сердце в беспечности.  
Гул, прозвучавший в веках.  
В жизни загубленной  
образ возлюбленной,  
образ возлюбленной – Вечности,  
с ясной улыбкой на милых устах<sup>101</sup>.

Сравнивая в своей рецензии две поэтические книги, выпущенные «Скорпионом» в 1904 году – «Золото в лазури» и «Прозрачность», – Брюсов писал: «В Белом больше лиризма, в Вяч. Иванове больше художника. Творчество Белого ослепительнее: это вспышки молний, блеск драгоценных камней, разбрасываемых пригоршнями, торжественное зарево багряных закатов. Поэзия Вяч. Иванова светит более тихим, более ровным, более неподвижным светом полного дня... В Белом есть восторженность первой юности... В Вяч. Иванове есть умудренность тысячелетий... Вяч. Иванов в хмеле вдохновения остается господином вызванных им стихийных сил, мудрым Просперо своего острова; Белый – как былинка в вихре своего творчества... своей необузданностью, порывает резко с обычными приемами стихотворчества,

---

<sup>100</sup> Блок А. Избранное. М., 1978. С. 66, 67.

<sup>101</sup> Александр Блок, Андрей Белый: Диалог поэтов о России и революции. М., 1990. С. 201.



смешивает все размеры... упивается еще неиспробованными ритмами. Вяч. Иванов старается найти новое в старом, вводит в русский язык размеры, почерпнутые из греческих трагиков или у Катулла, лишним добавленным слогом дает новый напев знакомому складу, возвращается к полузабытым звукам пушкинской лиры»<sup>102</sup>.

Высоко отозвался о «Прозрачности» и Блок. В своей рецензии на книгу, опубликованной в «Новом пути» (1904. № 6), он писал: «Книга Вячеслава Иванова предназначена для тех, кто не только много пережил, но и много передумал. Это – необходимая оговорка, потому что трудно найти во всей современной русской литературе книгу менее понятную для людей чуть-чуть “диких”, удаленных от культурной изысканности, хотя, быть может, и много переживших.

Но есть порода людей, которой суждено все извилины своей жизни обогреть кровью мыслей, которая привыкла считаться со всем многоэтажным зданием человеческой истории. Таким людям книга Вяч. Иванова доставит истинное наслаждение – и в этом смысле она “Für venige”»<sup>103</sup>.

Блок не случайно вспомнил здесь название первого сборника В. А. Жуковского «Für venige» («Для немногих»), адресованного прежде всего императорскому семейству и небольшому кругу друзей, почти тождественному Арзамасскому братству. Он предвидел, что и стихи Вячеслава Иванова найдут немногих, но достойных их, вдумчивых и преданных читателей. Блок писал: «Поэзия Вяч. Иванова может быть названа “ученой” и “философской” поэзией»<sup>104</sup>. Он указывал на традицию, которая восходила к святому Григорию Богослову, ученому аббату Алкуину, основателю Палатинской Академии эпохи Карла Великого, а в XVII–XVIII веках была представлена английским поэтом А. Попом, в России же – Ломоносовым. Исключение Блок сделал лишь для нескольких стихотворений книги «Прозрачность», в частности для «Лилии», продиктованной живым, непосредственным переживанием, подлинным лирическим наитием:

Под Тибуром, в плющах руин,  
Твой луч я встретил  
И стебель долгий – и один  
Тебя заметил.

И грезой, после многих лет,  
Зову, печален,  
Твой в полдень мне рассветший свет,  
Звезда развалин!

Встань, на лазури стройных скал  
Души, белея,  
И зыбля девственный фиал,  
Моя лилея!<sup>105</sup>

Особенно отмечал Блок стихотворения, воссоздающие стиль античной лирики, такие как «Цикады» из цикла «Песни Дафниса», где явственно слышался отзвук Алкеевой лиры:

<sup>102</sup> Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 45, 46.

<sup>103</sup> Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 47, 48.

<sup>104</sup> Вяч. Иванов: Pro et contra: Личность и творчество Вячеслава Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей: Антология. СПб., 2016. С. 47, 48.

<sup>105</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 760.

Цикады, цикады!  
Луга палящего,  
Кузницы жаркой  
Вы ковачи!  
Молотобойные,  
Скрежетопильные,  
Звонко-гремучие  
Вы ковачи!  
Любят вас музы:  
Пением в узы  
Солнечной дремы,  
Пьяной истомы  
Куйте лучи...<sup>106</sup>

Позже голос этих цикад отзовется у Мандельштама:

Бежит весна топтать луга Эллады,  
Обула Сафо пестрый сапожок,  
И молоточками куют цикады,  
Как в песенке поется, перстенок<sup>107</sup>.

В следующем, роковом для России 1905 году троем заявившим о своем бытии поэтам – Блоку, Белому и Вяч. Иванову – предстояло встретиться и образовать второй триумvirат в истории русского символизма. Несмотря на все огромное несходство между ними, их объединяла общность понимания символа в искусстве. Об этом Вяч. Иванов говорил в своей работе «Две стихии в современном символизме»: «Оно (символическое искусство. – Г. З.) позволяет осознать связь и смысл существующего не только в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных. ...Истинное символическое искусство прикасается к области религии, поскольку религия есть прежде всего чувствование связи всего сущего и смысла всяческой жизни... Художество было религиозным, когда и поскольку оно непосредственно служило целям религии. Ремесленниками такого художества были, например, делатели кумиров в язычестве, средневековые иконописцы, безыменные строители готических храмов. Этими художниками поистине владела религиозная идея. Но когда Вл. Соловьев говорит о художниках будущего: “не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями”, – он ставит этим *теургам* задачу еще более важную, чем та, которую разрешали художники древние, и понимает художественное религиозное творчество в еще более возвышенном смысле»<sup>108</sup>.

Вяч. Иванов переносил акцент в понятии «религиозного искусства» с внешнего, с уровня тематики и приема, на внутреннее, глубинно-сущностное значение. «Теургия», «боготворчество» мыслилось им как творчество художника вместе с Богом в деле преображения человека и мира, как сотворчество, и носило всецелый характер.

Вяч. Иванову вторил Андрей Белый: «Соединение вершин символизма, как искусства, с мистикой Владимир Соловьев определил особым термином. Термин этот – теургия. “Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом”, – говорит Господь. Теургия – вот что воздвигает

---

<sup>106</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 764.

<sup>107</sup> Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 105.

<sup>108</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 538.

пророков, вкладывает в уста их слово, дробящее скалы. ...Если в символизме мы имеем первую попытку показать во временном вечное, в теургии – начало конца символизма. Здесь уже идет речь о воплощении Вечности путем преобразования воскресшей личности. Личность – храм Божий, в который вселяется Господь»<sup>109</sup>.

Новый триумvirат, сделавший своим знаменем Владимира Соловьева, получил название «младосимволисты». Вячеслав Иванов был в нем старшим. Блоку и Белому к тому времени исполнилось по двадцать четыре года, Вяч. Иванову, когда он вошел в поэзию с двумя книгами стихотворений, – тридцать восемь. На год больше смертного пушкинского возраста. Впрочем, каждый плод вызревает в свое время.

Впереди ожидали ослепительная слава одного из мэтров Серебряного века, связанные с ней соблазны, провалы и восхождения, трагедия и катарсис. Но путь был избран бесповоротно.

---

<sup>109</sup> Поэтические течения в русской литературе конца XIX – начала XX века. М., 1988. С. 72, 73.

## Глава IV

### «Над городом-мороком». 1905–1907 годы

Летом 1904 года Ивановы вернулись в Швейцарию. Перед этим они заехали из Москвы в Петербург, где встретились с Дмитрием Мережковским и его женой – поэтессой и критиком Зинаидой Гиппиус, публиковавшей свои умные и злые статьи под мужским псевдонимом Антон Крайний. Прежде они знали друг друга только по переписке по поводу публикации в «Новом Пути» «Эллинской религии страдающего бога». Теперь же познакомились очно. Началась дружба, которая продолжалась почти сорок лет – сначала в России, а затем в эмиграции. Мережковский и Гиппиус, при всей их разности и независимости, являли собой удивительный пример гармонического семейного союза двух больших поэтов. Известно, что, прожив вместе пятьдесят два года, они не разлучались ни на один день.

Познакомились Ивановы и с художниками «Мира искусства» – А. Н. Бенуа, Л. С. Бакстом, М. В. Добужинским. На этот раз пребывание Вяч. Иванова в Петербурге было недолгим. Но через год Северная столица на семь лет станет для него домом.

Вернувшись в Шатлен, Вячеслав Иванов работал над трагедией «Тантал». Еще в 1903 году он задумал драматическую трилогию – «Тантал», «Ниобея» и «Прометей». Все три мифологических сюжета были связаны одним мотивом – бунтом человека против высших сил, попыткой его восторжествовать над ними. Звучал он в русской поэзии и прежде, также окрашенный в тона античного мифа – в стихотворении Тютчева «Два голоса»:

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,  
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!  
Над вами безмолвные звездные круги,  
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком  
Глядят на борьбу непреклонных сердец.  
Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком,  
Тот вырвал из рук их победный венец<sup>110</sup>.

«Тантал» был написан ямбическим триметром – самым распространенным в древнегреческой трагедии размером. По античной традиции толкование мифа в драматическом произведении предполагало большую свободу со стороны автора. Вяч. Иванов следовал в этом русле. Миф о Тантале он прочел глазами человека Нового времени и увидел в нем прообраз великой богочеловеческой трагедии. Тантал, сын Зевса, был одарен своим небесным отцом всеми благами, наделен бессмертием. Но, тяготясь сыновством, он захотел сам стать верховным богом, творить и рождать, благодетельствовать, быть как отец – но без отца. Тантал похищает во время пира богов на горе Сипил чашу с амвросией – эликсиром бессмертия и всемогущества – и несет ее людям. Но те не решаются отведать божественный напиток. На зов Тантала откликаются лишь двое – Сизиф и Иксион. Оба, подобно ему, хотят низвергнуть богов и царствовать над миром сами. Сизиф мечтает похитить молнии Зевса, а Иксион – овладеть Герой, супругой громовержца, осквернив небо. Напиток бессмертия проявляет самое существо двух этих «богоборцев» с их низменными устремлениями – брать, владеть, иметь, а не быть. Сам Тантал погружается в сон, в котором видит себя всемогущим миродержавцем. Тем временем

<sup>110</sup> Тютчев Ф. Стихотворения. Л., 1936. С. 199.

Иксион вместо Геры в помрачении овладевает Нефелой, подведенной к нему Зевсом. От этого союза рождается Кентавр – символ скотской похоти. Иксион и Сизиф низвергаются в Тартар. Сын Тантала Бротееас – двойник отца, лелеющий в душе обиду на родителя и жажду мести, – разбивает чашу с амвросией и тут же погибает. Драгоценная влага растекается по полу и ее капли превращаются в жемчужины. Прилетевшие голубки уносят их ввысь. Небесное возвращается небу. Тантал, очнувшись ото сна, видит себя в Тартаре, проклинаясь своими недавними «соратниками по штурму небес» Сизифом и Иксионом и держащим на плечах мертвое, погасшее солнце, грозящее раздавить его. Всемогущество без любви, без умения с благодарностью принимать дары свыше оказывается губительной химерой. Миф о Тантале в трагедии Вяч. Иванова отзывается по смыслу библейским рассказом о грехопадении из третьей главы Книги Бытия, где первые люди, обманутые змеем, также захотели всевластия без Бога, «быть как боги», а на деле увидели себя голыми. Змей этот появится намеком и в «Тантале»:

Бессмертный Змий пастию к чаше  
приник – и пьет,  
пьет – и жаждет вечно<sup>111</sup>.

А тем временем словно некий подземный гул предвещал грядущие беды. На смену уходящему веку с его тишиной и оранжерейной духотой предгрозя последних десятилетий неукоснительно надвигался новый век, в котором явственно сгущалось что-то страшное. Первые события «межвременья» – 1900-х годов – стали только прологом к трагедии обезбоженного мира, где человек жаждал самоутверждения и всевластия за счет себе подобного.

В декабре 1904 года началась война между Россией и Японией. Пробуждение Дальнего Востока и его роль на арене мировой истории в новом столетии предчувствовал еще Владимир Соловьев. Особое место он отводил Японии, видя в ней мозг и собирателя сил желтого мира. Об этом великий мыслитель предупреждал и в «Повести об антихристе», и в стихотворении «Панмонголизм»:

От вод малайских до Алтая  
Вожди с восточных островов  
У стен поникшего Китая  
Собрали тьмы своих полков.

Как саранча, неисчислимы  
И ненасытны, как она,  
Нездешней силою хранимы,  
Идут на север племена.

О Русь! забудь былую славу:  
Орел двухглавый сокрушен,  
И желтым детям на забаву  
Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,  
Кто мог завет любви забыть...  
И Третий Рим лежит во прахе,

<sup>111</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 53.

А уж четвертому не быть<sup>112</sup>.

Подобно ветхозаветным пророкам, обличавшим прежде всего Израиль за отступление от Божьих путей и видевших в победах над ним иноплеменников напоминание о его предназначении – жить не по всеобщему низменному правилу, а по высокому исключению, Владимир Соловьев главный упрек обращал к православной России, оказавшейся недостойной своего призвания, за что ее ожидало историческое возмездие, как некогда Византию. «Пробудившиеся племена» были только орудием Промысла.

Одно за другим приходили с Дальнего Востока страшные и горькие известия – о гибели «Варяга» и «Корейца», о поражении под Ляояном, о падении Порт-Артура. Русское общество и народ все более и более охватывало глубокое уныние и разочарование. Росло недовольство действиями правительства и положением дел в стране. «Страсть к отчизне» у многих перерождалась в «ненависть». Как когда-то в средневековой Западной Европе после окончательного поражения крестоносцев и утраты Иерусалима рыцарь, подавая милостыню нищему, нередко говорил: «Подаю тебе во имя Магомета, который сильнее Христа!», так и теперь нашлись такие, что, узнав о гибели русской эскадры в Цусимском сражении, отправили поздравительную телеграмму японскому императору. Для того чтобы восстановить почти разрушившуюся жизнь Церкви на Западе, потребовался святой Франциск Ассизский, как на Руси после ордынского разгрома – преподобный Сергей Радонежский. Новую, уже близкую мировую катастрофу остановить не мог никто. В России преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы и святой Иоанн Кронштадтский многими почитались, но не были по-настоящему услышаны теми, кому надлежало иметь уши. «Красное колесо» неудержимо набирало обороты...

О смысле событий, происходивших тогда, Вяч. Иванов писал в статье «Русская идея»: «Желтая Азия подвиглась исполнить уготованную ей задачу, – задачу испытать дух Европы: жив ли и действителен ли в ней ее Христос? Желтая Азия спросила нас первых, каково наше самоутверждение. А в нас был только разлад»<sup>113</sup>.

А впереди маячил день, потрясший и ужаснувший Россию больше, чем все военные поражения, после которого прежняя жизнь окончательно стала невозможной.

Вячеслав Иванов и Лидия Дмитриевна продолжали жить в Швейцарии. В августе 1904 года они познакомились с приехавшим в Женеву поэтом Максимилианом Волошиным, к тому времени уже хорошо известным в художественных кругах Парижа, Петербурга и Москвы. Свои стихи и статьи Волошин публиковал в русских и французских журналах, занимался живописью, целые дни проводил в музеях. Много путешествовал по Европе в компаниях художников, порой один или с немногочисленными спутниками с посохом странника в руках проходил десятки километров горными тропами, обследуя самые глухие уголки, малоизвестные и европейцам, в Андорре, на Балеарских островах. Париж, его историю с древнейших времен и его топографию знал не хуже своего собственного дома, водил по нему группы русских приезжих, особенно любил завести их на ночь глядя в глушь Булонского леса и пугать там рассказами о разбойниках, доводя иной раз слабонервных барышень или робких студентов до полуобморочного состояния. С поэзией Вяч. Иванова Волошин познакомился незадолго до встречи с ним самим. Оба поэта были бесконечно не похожи друг на друга. У Волошина в стихах царствовал глаз – праздничное восприятие живописца, привязанность к зримой красоте мира сего, чувство цвета, фактуры.

Тем не менее каждый из мастеров оценил другого по достоинству. Некоторые из тогдашних бесед с Вяч. Ивановым Волошин записал в своем дневнике:

*«9 августа. Женева.*

<sup>112</sup> Соловьев Вл. Чтения о Богочеловечестве: Статьи. Стихотворения и поэма. СПб., 1994. С. 393.

<sup>113</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 84, 85.

...Разговор с Вячеславом Ивановым:

– У Вас удивительно красочный язык. Вы редко хорошо рассказываете. Это тонкая живопись до мельчайшей детали.

– Да, я признаю обезьяну. Обезьяна – а потом неожиданный подъем: утренняя заря, рай, божественность человека. Совершается единственное в истории: животное, охваченное безумием, обезьяна сошла с ума. Рождается высшее – трагедия...

*10 августа. Женева.*

– ...У Вас глаз непосредственно соединен с языком. В ваших стихотворениях как будто глаз говорит. Все необыкновенно законченно...

– Я ищу в стихе равновесия. Если я употребляю в одном стихе редкое слово, то я стараюсь употребить равноценное на другом конце строфы.

– Вы буддист. Вы нам чужды. Мне враждебен Virus буддизма. Вот вопрос, решающий, твердо ставящий грань: “Хотите Вы воздействовать на природу?”

– Нет. Безусловно. Я только впитываю ее в себя... Я радуюсь всему, что она мне посылает...

– Ну вот! А мы хотим претворить, пересоздать природу. Мы – Брюсов, Белый, я. Брюсов приходит к магизму. Белый создал для этого новое слово, свое ‘теургизм...

В буддизме равенство человека и животных.

Христианство – это сила. Мы будем возвышаться, впитывать животных. Христианство – это религия любви, но не жалости. Жалость чужда христианству. Безжалостная любовь – истребляющая, покоряющая – это христианство. В буддизме скорее есть жалость. Это религия усталого спокойствия.

– Я считаю основой жизни пол...

Это живой, осязательный нерв, связывающий нас с вечным источником жизни. Искусство – это развитие пола. Мы переводим эту силу в др<угую> область...

– Если так, Вы подходите к нам. Вы не буддист. В буддизме нет трагедии.

– Для меня жизнь радость. Хотя, может, многое, что другие называют страданием, я называю радостью. Я страдание включаю в понятие радости...

*22 августа.*

Еду... к Иванову.

Разговор сразу начинается о ритме и о танце, быстро и согласно, точно мы бежим по одной дороге, торопясь и перебивая друг друга.

– Конечно, танец есть источник всякого ритма и, следовательно, стиха. В Греции все стихи оттеняли ритм танца. Поэтому и многообразие ритмов в трагедии. Я вот пытался передавать их по-русски. Напр<имер> там, где встречаются два рядом стоящих ударения слова. В этом топот ног.

Он приносит книгу и читает»<sup>114</sup>.

22 августа Волошин вернулся из Жeneвы в Париж, а в декабре уехал в Россию. Прожив пять дней в Петербурге, а затем почти три недели в Москве, он вновь отправился в Северную столицу. 9 января 1905 года Волошин сошел с поезда на Московском вокзале. Этот день, один из самых страшных и трагических во всей русской истории, свидетелем которого ему выпало стать, когда на глазах рушились казавшиеся прежде несокрушимыми основы народной жизни и веры, Волошин запечатлел и в своем дневнике, и в статье «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге», опубликованной в феврале того же года на французском языке в газете «L'Europeen Courrier international Hebdomadaire» («Европейский международный еженедельный курьер»): «Проходя по Литейному, я увидел на тротуарах толпы людей; все, задрав головы, смотрели расширенными от ужаса глазами. Я повернулся, стараясь понять, на что они так смотрели, но

---

<sup>114</sup> Волошин М. История моей души. М., 1999. С. 71–82.

ничего не увидел. Я почувствовал, что их взгляды скользят совсем близко от меня, не останавливаясь на мне. И вдруг я разглядел, что во всех санях, которые проезжали мимо меня, находились не живые люди, а трупы...

В этот момент я увидел на небе три солнца – явление, которое наблюдается в сильные холода и, по верованиям некоторых, служит предзнаменованием больших народных бедствий...

Подошел бледный, с дрожащей челюстью рабочий, в истерзанных одеждах, и, обращаясь частью ко мне, частью к солдатам, рассказал, что на Дворцовой площади по толпе были даны два залпа. “Толпа собралась, чтобы увидеть царя. Говорили, будто он примет рабочих в два часа. Было много детей и женщин. На площади войска выстроились, как для встречи царя. Когда трубы заиграли сигнал: ‘В атаку!’, люди решили, что едет царь, и стали вставать на цыпочки, чтобы лучше видеть. В этот момент, без всякого приказа, был дан залп, потом другой, прямо в упор по толпе”...

То же самое происходило и за Нарвской заставой, где стреляли по процессии с крестьянами впереди. Толпа с хоругвами, иконами, портретами императора и священниками во главе не разбежалась при виде нацеленных дул, а упала на колени с пением гимна во славу царя: “Боже, царя храни”»<sup>115</sup>.

Подытоживая впечатления этого страшного дня, Волошин так завершал свою статью: «Странными путями предзнаменования... – как три солнца, светивших над Петербургом... – связывались с повторением исторических фактов перед Великой французской революцией... Слова великого князя Владимира: “Мы знаем слишком хорошо историю французской революции, чтобы допустить ошибки, совершенные тогда”, ввиду полного параллелизма фактов, пробуждали глубокий фатализм.

Кровавая неделя в Петербурге не была ни революцией, ни днем революции. Происшедшее – гораздо важнее. Девиз русского правительства “Самодержавие, православие и народность” повержен во прах. Правительство отринуло православие, потому что оно дало приказ стрелять по иконам, по религиозному шествию. Правительство объявило себя враждебным народу, потому что отдало приказ стрелять в народ, который искал защиты у царя.

Эти дни были лишь историческим прологом великой народной трагедии, которая еще не началась.

Зритель, тише! Занавес поднимается»...<sup>116</sup>

По странному, но какому-то глубоко не случайному, знаковому совпадению в этот же день в Петербург приехала Айседора Дункан. С ней Волошин за полгода до того познакомился в Париже. «Великая босоножка» возродила на балетной сцене исступленный, неистовый дионисийский танец, словно уловя те ритмы времени и истории, которые чувствовали и русские поэты Серебряного века. Позже об этом писал и Блок в статье «Катилина», сопоставляя ритм и размер Катуллова «Аттиса» с катастрофическими событиями, предшествовавшими крушению республики в Риме, периоду гражданской смуты и установлению принципата.

Вячеслав Иванов в январе 1905 года по-прежнему оставался в Женеве. Там он и узнал обо всем произошедшем в Петербурге. 6 февраля он писал Валерию Брюсову: «Пророс великий росток! Правда, общее безумие – реально охватило Россию... *Пережить нужно все, и уцелеть...* Помни это!»<sup>117</sup> Русским поэтам вслед за Пушкиным, особенно в XX столетии, не однажды приходилось примерять на себя участь Андре Шенье.

Сдвиги, совершавшиеся тогда в русской истории, отзывались и в стихах Вяч. Иванова. Он верил, что, пройдя через очистительное страдание, Россия возродится к новой жизни, что

<sup>115</sup> Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 90–93.

<sup>116</sup> Волошин М. Путник по вселенным. М., 1990. С. 94, 95.

<sup>117</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 692.



горестные события – только преддверие долгожданных перемен. Этой надеждой было пронизано стихотворение «Под знаком Рыб», написанное 18 апреля 1905 года:

При заревах, в годину гнева,  
Из напоенных кровью глыб  
Пророс росток святого древа  
На звездный зов заветных Рыб.

Росток младенческий, приземный!  
Орлов ютить ты будешь в день,  
Как над страной неподъяремной  
Могучую раздвинешь сень<sup>118</sup>.

Тот же мотив звучал и в другом стихотворении Иванова – «Цусима», написанном месяц спустя. Ему был предпослан эпиграф из военных реляций, сообщавших, что крейсер «Алмаз» единственный из разгромленной русской эскадры прорвался через цепь японских кораблей и пришел во Владивосток. Для Иванова название этого крейсера, уцелевшего среди всеобщей катастрофы, обрело знаковые черты:

В моря заклые родимая армада  
Далече выплыла... – последний наш оплот!  
И в хлябях водного и пламенного ада —  
Ко дну идет...

.....

Огнем крестися, Русь! В огне перебори  
И свой Алмаз спаси из черного горнила!  
В руке твоих вождей сокрушены кормила:  
Се, в небе кормчие ведут тебя цари<sup>119</sup>.

День ото дня Вяч. Иванов и Лидия Дмитриевна все сильнее хотели вернуться в Россию. Они чувствовали, что там сейчас совершается что-то всемирно значимое, судьбоносное для нового столетия, чему поэту надлежит быть свидетелем. Жизнь в тихой Швейцарии уже не отвечала их внутренним потребностям. Все накопленное Вячеславом за долгие годы сосредоточенного самоуглубленного труда требовало теперь простора, выхода и самоотдачи. К тому же после смерти отца Лидии Дмитриевны ничто больше не вынуждало Ивановых жить в Шатлене.

И вот в июне 1905 года, оставив Костю, Веру и девятилетнюю Лидию (Сереза учился в Англии, лишь на каникулы приезжая в гости) на попечении Марии Михайловны Замятниной, супруги отправились в Петербург. Незадолго до отъезда Лидии Дмитриевне приснился странный сон. Вместе с Вячеславом они находились в круглой комнате и бросали в стоящую посередине урну рукописные свитки. Вдруг свитки вспыхнули. Пламя охватило всю комнату. Вячеслав и Лидия начали выхватывать горящие свитки из урны и кидать вниз из окна, где их ловили подбегающие люди.

Приехав в Петербург и временно поселившись в Офицерском переулке, Ивановы стали искать себе жилье. Однажды, когда они проходили по Таврической улице, на стене пятиэтажного доходного дома номер 25 с большим круглым выступом – эркером в углу над крышей им

---

<sup>118</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 252.

<sup>119</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 252, 253.

на глаза попало объявление, что здесь сдается квартира. Они поднялись на верхний этаж. Квартира оказалась как раз в эркере. Когда Лидия Дмитриевна вошла, то увидела круглую комнату – ту самую, из своего сна. Все было тут же решено. Дом словно сам выбрал жильцов, чтобы стать легендой. Ивановы мгновенно поняли, что это *их* пространство. Впоследствии дочь Вячеслава Ивановича и Лидии Дмитриевны, Лидия-младшая, так описывала жилище на Таврической в своей книге воспоминаний об отце: «Дом на Таврической, 25 находился на углу Тверской улицы. Форма дома была особенная: его угол был построен в виде башни. Половину этой башни образовали внешние стены, с большими окнами, а другая половина состояла из внутренней части квартир. Над башней возвышался купол и туда можно было с опаской входить, чтобы любоваться чудным видом на город, на Неву и окрестности. Я часто туда отправлялась, а изредка даже и Вячеслав с гостями. В квартирах под нами башня представляла собой большой круглый зал (на одном этаже там была школа танцев Знаменских, на другой – общественная читальня). В нашей квартире этот зал был разделен на три маленькие комнаты с крошечной темной передней. Форма комнат была причудливая, так как это были разрезы круга. В соседней комнате было очень большое окно с видом на море»<sup>120</sup>.

Вячеслав Иванов в июне 1909 года писал в своем дневнике: «Хорошо на башне. Устроенный, прохладный, тихий оазис на высоте над Таврическим садом и его зеленой чащей – прудом с серебряными плесами»<sup>121</sup>.

Башне суждено было почти на семь лет стать домом поэта и одновременно одним из самых ярко пылающих и гостеприимных «очагов» Серебряного века, где жизнь духа, мысли и искусства достигала небывалых высот. Отозвалась она и в поэзии Вяч. Иванова. Вскоре после обретения нового жилья он пишет стихотворение «Астролог». Так же как «Цусима» и «Под знаком Рыб», оно было полно предчувствием грядущих судеб России. Но акценты в нем явно сместились. Если в недавних стихах жила надежда, что через временные страдания страна преобразится и выйдет к свободе и великой славе, то в «Астрологе» предвиделось погружение во мрак гражданского ада на долгие годы. В России все больше сгущалась предгрозовая атмосфера. Повсюду происходили революционные волнения и забастовки, в деревнях – поджоги и разграбления помещичьих усадеб. Правительство отвечало на это репрессиями, которые, несмотря на всю жестокость по меркам *того времени*, не могли предотвратить будущего кровавого потопа. Точно так же, как во Франции XVIII столетия, когда большая часть общества жила по принципу «после нас – хоть потоп», потоп не замедлил прийти... Время для лечения застарелых недугов было безнадежно упущено. Россией все больше овладевало безумие, чреватое неисчислимыми жертвами. Опустошенность и болезнь духа грозили страшными конвульсиями.

Когда-то пророки древнего Израиля поднимались на башню Иерусалимского храма, чтобы получить откровение от Бога. Там Аввакум услышал горькую весть, не оставлявшую никаких надежд на спасение народа, удалившегося от путей правды, но сам обрел незыблемую опору, дающую избраннику силы выстоять вопреки губительным вихрям истории – «праведный своею верою жив будет» (Авв., 2, 4).

Вещающий с башни «астролог» Вяч. Иванов, конечно же, не пророк. Смысл открытого пророку относится ко всем временам, тогда как астролог пытается предсказать по расположению небесных светил ход ближайших событий. Однако этот образ имел у Иванова еще и особое значение, если вспомнить его «кормчие звезды», направляющие на тот же путь, что и Книга книг. Со своей «башни» напротив Таврического сада поэт различал близкую уже череду скорбей начинающегося столетия:

<sup>120</sup> Иванова Л. Воспоминания: Книга об отце. М., 1992. С. 30, 31.

<sup>121</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 773.

«Гласи народу, астролог,  
И кинь свой клич с высокой башни:  
На села сирые, на чахнувшие пашни  
Доколь небесный гнев налег?»

– «Чредой уставленной созвездья  
На землю сводят меч и мир:  
Их вечное ярмо склонит живущий мир  
Под знак Безумья и Возмездья.

.....

И страсть вас ослепит, и гнева от любви  
Не различите вы в их яром искаженье;  
Вы будете плясать – и, пав в изнеможенье,  
Все захлебнуться вдруг возжаждете в крови.

Бьет час великого Возмездья!  
Весы нагнетены, и чаша зол полна...  
Блажен безумьем жрец! И, чья душа пьяна, —  
Пусть будет палачом!.. Так говорят созвездья»<sup>122</sup>.

Почти в то же самое время, когда Вяч. Ивановым в Петербурге был написан «Астролог», – летом 1905 года (по другим данным – 2 марта 1906 года) Максимилиан Волошин в Париже пишет стихотворение «Ангел мщенья».

На разных концах Европы два огромных русских поэта размышляли о грядущем скорбном пути России. Удивительным было совпадение их провидческого опыта – почти на словесном уровне перекликались оба стихотворения, вплоть до финальных строк:

Народу Русскому: я скорбный Ангел Мщенья!  
Я в раны черные – в распаханную новь  
Кидаю семена. Прошли века терпенья.  
И голос мой – набат. Хоругвь моя – как кровь.  
.....

О, камни мостовых, которых лишь однажды  
Коснулась кровь! я ведаю ваш счет.  
Я камни закляну заклатьем вечной жажды,  
И кровь за кровь без меры потечет.  
.....

Не сеятель сберет колючий колос сева.  
Принявший меч погибнет от меча.  
Кто раз испил хмельной отравы гнева,  
Тот станет палачом иль жертвой палача<sup>123</sup>.

---

<sup>122</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 253.

<sup>123</sup> Волошин М. Жизнь – бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 87, 88.

Хорошо зная историю французской революции, Вяч. Иванов и Волошин понимали, что русская смута будет намного страшней и кровавей. Но Волошин оказался прозорливее. Он провидел, что революция, подобно водовороту, поглотит и тех, кто вершил эту безумную вакханалию, что тот, «чья душа пьяна» и кто «будет палачом», неминуемо станет затем и «жертвой палача» по неизбежному закону смутного времени.

В Петербурге ожидание близких бедствий все больше усиливалось у Вяч. Иванова. Этот «самый сочиненный город» не раз отзывался катастрофическими мотивами в русской литературе, начиная с «Медного всадника». Слышались они и у Гоголя, и – надрывной нотой – у Достоевского. Совсем недолго оставалось до «Петербурга» Андрея Белого, до блоковского «Страшного мира», до вещего, звучащего приговором стихотворения Иннокентия Анненского... «Чудотворный строитель» в исполинском размахе своих державных замыслов мало думал о тех, кому потом предстояло жить в этом городе. Он слишком торопил историю. Позже Волошин, видя глубинную связь между первым и третьим Римом через Византию, писал об этом в стихотворении «Европа»:

Здесь, жгучие желанья затая,  
В глубоких влумах укрытая стихия,  
Чувствовалище и похотник ея,  
Безумила народы Византия.  
.....

И зачала и понесла во чреве  
Русь – третий Рим – слепой и страстный плод:  
Да зачатое в пламени и в гнев  
Собой восток и запад сопряжет!

Но, роковым охвачен нетерпеньем,  
Всё исказил неистовый Хирург,  
Что кесаревым вылушил сеченьем  
Незрелый плод Славянства – Петербург<sup>124</sup>.

Поспешность и нетерпение Петра отозвались спустя два столетия. В Петербурге завязался один из самых тугих узлов мировой истории. Здесь и поселились поэт и его подруга. Как не походила эта Северная столица, соперничающая с Древним Римом своим классическим обликом, с величавым безмерным пространством Невы, скупым прохладным светом, осенним сумраком и туманом, привольным для химер, ни на домашний уютный мир старой Москвы, ни тем более на залитый солнцем средиземноморский простор, столь дорогой их сердцам!

Но все же что-то неудержимо влекло сюда Вячеслава и Лидию. Они оказались в этом месте в нужное время и сами стали эпохой. «Странность» их выбора раскрывалась в написанном тогда же Вяч. Ивановым стихотворении «На башне»:

Пришелец, на башне притон я обрел  
С моею царицей – Сивиллой,  
Над городом-мороком – смурый орел  
С орлицей ширококрылой.

<sup>124</sup> Волошин М. Жизнь – бесконечное познание: Стихотворения и поэмы. Проза. Воспоминания современников. М., 1995. С. 96.

Стучится, вскрутя золотой листопад,  
К товарищам ветер в оконца:  
«Зачем променяли свой дикий сад  
Вы, дети-отступники Солнца,

Зачем променяли вы ребра скал,  
И шепоты вещей пещеры,  
И ропоты моря у гордых скал,  
И пламенноликие сферы —

На тесную башню над городом мглы?  
Со мной, на родные уступы!..»  
И клекчет Сивилла: «Зачем орлы  
Садятся, где будут трупы?»<sup>125</sup>

Последние две строки были перифразом евангельского стиха «Ибо, где будет труп, там соберутся орлы» (Мф.; 24, 28), когда Спаситель говорил ученикам о грядущей гибели Иерусалима, не узнавшего времени его посещения, оставшегося глухим к Богу. На путях мировой истории такое повторялось не раз. И люди с чутким слухом распознавали надвигающуюся грозу еще по дальним громам. Граду Петрову предстояло стать местом одной из самых страшных русских катастроф, сценной, где разыгралась трагедия невиданного прежде размаха. Слышалось предчувствие близкой беды и в другом стихотворении Вяч. Иванова того же времени – «Медный всадник». Два, казалось бы, противоположных, но равно враждебных человеку начала – стихия и «кумир» – всегда довлели в судьбе этого города. Россия, поднятая на дыбы, и «тяжелозвонное скаканье», пророчески увиденные и услышанные Пушкиным, откликнулись роковым смыслом и в новом столетии:

В этой призрачной Пальмире,  
В этом мареве полярном,  
О, пребудь с поэтом в мире,  
Ты, над взморьем светозарным

Мне являвшаяся дивной  
Ариадной, с кубком рьяным,  
С флейтой буйно-заунывной  
Иль с узывчивым тимпаном...

.....

Приложила перст молчанья  
Ты к устам – и я, сквозь шепот,  
Слышу медного скаканья  
Заглушенный тяжкий топот...

Замирая, кликом бледным  
Кличу я: «Мне страшно, дева,  
В этом мороке победном  
Медно-скачущего Гнева...»

---

<sup>125</sup> Иванов Вяч. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 259.

А Сивилла: «Чу, как тупо  
Ударяет медь о плиты...  
То о трупы, трупы, трупы  
Спотыкаются копыта»...<sup>126</sup>

За «медно-скачущим Гневом» виделись всадники Апокалипсиса. Поэт не мог быть равнодушным к тому, что явственно назревало во времени. И вновь совопросницей и сопровидницей его стала верная подруга – Сивилла, наделенная той же орлиной зоркостью. Она появлялась в стихах и под другими именами – и Менадой, и Диотимой на платоновском «симпосионе», пире мудрого веселья. Этому пиру суждено было теперь продолжиться на «башне», а предводительствовать на нем – Вячеславу Иванову. О его удивительном даре собеседника, искусстве обворожить слушателей говорилось много. Писатель Борис Зайцев вспоминал об одной встрече с ним и Лидией Дмитриевной: «Пришел Вячеслав Иванович с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он... мягко-кудреватый, голубые глаза... Светлая борода. Общее впечатление мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама – его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал...

---

<sup>126</sup> *Иванов Вяч.* Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 259–261.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.